

ДЕЛО №1979

СМОЛИН ПАВЕЛ



18+

Павел Смолин

Дело #1979

«Автор»

2026

Смолин П.

Дело #1979 / П. Смолин — «Автор», 2026

Я умер в пятницу на МКАДе, а проснулся в сентябре 1979 года — в теле двадцатитрёхлетнего лейтенанта милиции в провинциальном Краснозаводске. У меня теперь чужая память, восемь метров в коммуналке, новая форма и работа в угро горотдела. Но голова — своя. С двенадцатью годами оперативного опыта в Москве двухтысячных. Чтобы докопаться до правды, придётся работать по советским правилам: без баз данных, без экспертиз и без права ошибиться. Потому что здесь даже «маленькое дело» — это дело, за которым стоит живой человек.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	21
Глава 4	32
Глава 5	44
Глава 6	55
Гла	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Павел Смолин

Дело #1979

Глава 1

Я умер в пятницу.

Не в смысле «был на волосок» или «сердце на секунду остановилось» — в буквальном смысле умер. Просто я об этом не сразу понял.

Пятница была обычной. Таких пятниц за двенадцать лет в угро накопилось столько, что они слились в одну длинную серую полосу: утренняя планёрка, бумаги, выезд, снова бумаги, звонки, снова выезд. Мы закрыли дело по двойному убийству в Бирюлёво — то есть не закрыли, а сдали в суд, что в нашей системе примерно одно и то же. Потом был разговор с прокурором, который мне не понравился, потом был разговор с начальником, который понравился ещё меньше, потом я три часа писал рапорт, который никто не прочитает.

В восемь вечера я вышел из здания на Петровке и сел в машину.

Машина была новая — месяц как взял, «Хавал Джوليон», белый, с подогревом сидений и камерой заднего вида. Я за неё ещё не расплатился, если честно. Кредит на три года, первый взнос съел все накопленные за полгода деньги. Зоя сказала, что я идиот. Я сказал, что заслужил. Мы оба были правы.

Зоя — это бывшая жена. Уже три года как бывшая, но мы всё ещё разговаривали — по поводу дочки, в основном. Маша жила с ней, ко мне приезжала на выходные, когда я не работал в выходные, что случалось примерно раз в месяц.

Я включил прогрев сидений и выехал на Садовое.

Москва в пятницу вечером — это отдельный вид ада. Пробки, фары, кто-то сзади в BMW сигналит, потому что я не перестроился достаточно быстро. Я не реагировал — давно научился не реагировать. Двенадцать лет в угро вырабатывают определённое отношение к мелким раздражителям. Когда видел настоящее, перестаёшь нервничать по пустякам.

Радио работало тихо. Какая-то песня, потом новости, потом снова песня. Я не слушал — думал о деле. Привычка. Даже когда уходишь из офиса, голова продолжает перебирать детали: что упустил, что можно было сделать иначе, где соврал свидетель.

Пробка на Третьем кольце рассосалась неожиданно, и я поехал быстрее.

Устал. По-настоящему устал — не телесно, а как-то глубже. Тем летом мне исполнилось сорок два, и я вдруг понял, что последний раз нормально спал, наверное, в тридцать пять. Не ночевал — именно спал, без снов про протоколы и без ощущения, что надо вставать и куда-то бежать. Зоя говорила, что это профессиональная деформация. Наш психолог в управлении говорил то же самое, только умнее словами.

Может, они оба были правы.

МКАД был полупустой — поздно уже, основной поток схлынул. Я ехал в правом ряду, не торопился. Фары встречных машин размазывались в длинные полосы.

Я моргнул.

Просто моргнул — на долю секунды закрыл глаза. Потому что устал. Потому что двенадцать лет, и пятница, и бирюлёвское дело, и рапорт, который никто не прочитает.

Темнота.

Не та темнота, которая бывает, когда закрываешь глаза — там всегда что-то есть, какие-то пятна, остаточный свет. Эта была другой. Абсолютной. Тишина внутри неё тоже была абсолютной — ни звука мотора, ни радио, ни шороха шин. Ничего.

Я не успел испугаться.

Просто — темнота. И всё.

Первым пришёл запах.

Затхлое, нежилое, с примесью дешёвого табака и чего-то кислого — перегар, понял я через секунду. Перегар и ещё что-то. Застоявшийся воздух комнаты, которую давно не проветривали.

Потом пришла боль.

Голова болела так, как не болела, кажется, никогда в жизни. Не просто болела — пульсировала, раскалённо и методично, от затылка до висков. Я попытался пошевелиться и понял, что лежу на чём-то жёстком. Не кровать — кушетка, что ли. Узкая, с продавленным матрасом, который хрустнул, когда я повернулся.

Открывать глаза не хотелось. Я знал, что будет больно.

Открыл.

Потолок. Белёный, с жёлтым пятном в углу — протечка, давняя, уже засохшая. Трещина от пятна шла по диагонали до розетки. Розетка была советская — круглая, выпуклая, с пожелтевшими краями. Я смотрел на неё и ждал, пока перестанет кружиться.

Не переставало.

Я сел. Медленно, придерживая голову руками — затылок угрожающе ухнул вниз при смене положения. Зажмурился, переждал, открыл снова.

Комната была маленькой. Очень маленькой — метров восемь, не больше. Кушетка вдоль одной стены, стол у окна, табурет, шкаф с перекошенной дверцей. На столе — стакан с мутной водой, окурки в блюде, смятая пачка «Беломора». Окно было занавешено шторой — блёклой, в выпавший цветочек — но в щель пробивался серый дневной свет.

Я смотрел на всё это и понимал, что что-то не так.

Не с комнатой. С собой.

Я поднял руку — посмотреть на часы. Часов не было. Была рука — но не моя. То есть — моя, она слушалась, я ею шевелил. Но она была другой. Моложе. Костяшки без привычных шрамов, кожа чище, пальцы немного тоньше. Я повернул её ладонью вверх, потом вниз. Сжал кулак. Разжал.

Рука слушалась.

Я встал — медленно, голова взорвалась и немного успокоилась — и подошёл к шкафу. На внутренней стороне перекошенной дверцы было зеркало. Небольшое, мутноватое, с тёмными пятнами по углам.

Я посмотрел в него.

На меня смотрел незнакомый человек.

Молодой — лет двадцать два, двадцать три. Худощавый, с тёмными волосами, взъерошенными после сна. Лицо обычное — не примечательное, не некрасивое. Светлые глаза — серые или зеленоватые, в этом зеркале не разобрать. На подбородке — лёгкая щетина, не брился дня три, наверное.

Я стоял и смотрел на этого человека, а он смотрел на меня.

Потом я сел на кушетку, потому что ноги вдруг перестали держать.

Не знаю, сколько я так сидел. Минуту, может, пять.

Потом что-то случилось. Не резко — постепенно, как когда вспоминаешь сон: сначала ничего, потом кусочки, потом всё разом. В голове начали появляться вещи, которых там раньше не было.

Имя. Воронов Алексей Михайлович — это я знал про себя и раньше. Но теперь к нему прибавилось другое: Краснозаводск. Городское отделение милиции. Учебная рота, сержант

Бобков орёт на плацу, зачёт по уголовному праву, практика в дежурной части. Общага училища, Витька Сомов с гитарой, Колька Прасолов, который умудрился провалить стрельбу три раза подряд.

Вчера был выпускной.

Это я тоже вспомнил — вернее, оно само пришло, как чужая память, которая вдруг стала своей. Актный зал, торжественное построение, погоны лейтенанта. Потом — накрытые столы в той же общаге, самогон из трёхлитровой банки, Сомов с гитарой снова, только уже в штатском, кто-то плакал от радости или от страха перед взрослой жизнью.

Детдомовский. Это тоже пришло — спокойно, без боли, просто факт. Рос в детдоме в Энгельсе, в восемнадцать ушёл в армию, потом в училище МВД, потому что надо было куда-то идти. Выпускников-детдомовцев обеспечивали жильём — вот эта комната в коммуналке на улице Строителей, д. 14, кв. 3. Восемь метров, общая кухня, общий туалет, соседи: Нина Васильевна — пенсионерка, тихая; Геннадий — слесарь, пьёт, но не буйный; молодая семья в дальней комнате, фамилию я — то есть он — то есть я — не запомнил.

Память приходила волнами. Я сидел на кушетке и принимал её, как принимают неожиданный груз — осторожно, чтобы не уронить.

Я знал этого человека. Знал его жизнь, его маршруты, его привычки. Знал, как зовут начальника горотдела — подполковник Нечаев, строгий, но справедливый, так говорили в училище. Знал, что на кухне слева от плиты висит полотенце Нины Васильевны — голубое, в белую полоску — и что трогать его нельзя. Знал, что в шкафу есть форма — новая, ни разу не надёванная, купленная на выпускные деньги.

Знал всё это — и одновременно был другим человеком.

Сорок два года. Москва. Петровка. Двенадцать лет в угро. Зоя. Маша. Белый «Хавал» на кредите, который я теперь никогда не выплачу. МКАД, пятница, усталость, темнота.

Я умер.

Или — попал. Или — что-то ещё, для чего у меня не было слова.

Встал. Снова подошёл к зеркалу. Смотрел на молодое незнакомое лицо и пытался принять простой факт: это теперь я. Не временно, не пока не разберусь — это я. Двадцать три года, лейтенант советской милиции, похмелье после выпускного, восемь метров жилплощади от государства.

Лицо в зеркале смотрело серьёзно.

— Ну, — сказал я ему вслух. — Бывало и хуже.

Голос был чужой. Молодой, без той хрипотцы, которая у меня появилась лет в тридцать пять. Я прокашлялся. Немного лучше.

Первым делом нашёл воду.

На столе стоял стакан с мутноватой жидкостью — понюхал, обычная вода. Выпил залпом. Полегчало на четыре процента, может, на пять. Огляделся в поисках ещё воды — не нашёл. Память подсказала: кухня общая, в конце коридора, там кран.

Я вышел в коридор.

Коридор был длинным, тёмным, с коричневыми обоями и одной лампочкой под потолком. Три двери — моя, ещё две. Из-за одной доносился негромкий звук радио. Дальше — кухня, я знал это, не видя.

На кухне была Нина Васильевна.

Маленькая, плотная, лет семидесяти, в халате с мелким рисунком и тапочках с помпонами. Стояла у плиты и помешивала что-то в кастрюле. Овернулась, когда я вошёл, — без удивления, как будто ждала.

— Проснулся, — сказала она. — Живой?

— Живой, — ответил я. — Воды можно?

— Вон кран.

Я подошёл к раковине, открыл кран, подождал, пока вода станет холоднее, и пил прямо из-под крана — долго, жадно. Нина Васильевна наблюдала молча, без осуждения. Потом сказала:

— Вчера в начале второго появился. Я уже думала, пропал совсем.

— Гуляли, — объяснил я.

— Вижу, что гуляли. — Она вернулась к кастрюле. — Есть будешь?

Я подумал. Желудок был не уверен в ответе.

— Да. Наверное.

— Садись.

Я сел за кухонный стол. Стол был покрыт клеёнкой в мелкий цветочек. На подоконнике стояли три горшка с геранью и стопка книг — сверху был старый атлас, корешок потёртый. Нина Васильевна поставила передо мной тарелку с гречкой и стакан горячего чая.

— Солить умеешь? — спросила она.

— Умею.

— Соль вон там. — Кивнула на солонку. — Хлеб в хлебнице.

Я поел. Не торопясь, молча. Нина Васильевна не задавала вопросов — сидела напротив, пила свой чай и читала газету. «Правда», сложенная вчетверо. На первой полосе я краем глаза увидел дату: 15 сентября 1979 года.

Пятнадцатое. Значит, вчера было четырнадцатое.

Сентябрь семьдесят девятого. Брежнев живёт ещё три с лишним года. Афган уже начался — вернее, начнётся через три месяца. Олимпиада в Москве — через год. До конца СССР — двенадцать лет.

Я ел гречку и думал.

— Спасибо, — сказал я, когда доел.

— На здоровье, — ответила она, не отрываясь от газеты.

Я помыл тарелку — сам, не спрашивая. Она мельком на это глянула, ничего не сказала. Я повесил тарелку на место — память подсказала, куда — и пошёл обратно в свою комнату.

Форма висела в шкафу, как я и знал.

Я вытащил её, расправил на кушетке. Серая милицмейская форма, новая, необмятая. Лейтенантские погоны. Фуражка на верхней полке — тоже новая, с синим околышем. Я смотрел на всё это и думал о том, что сорок два года назад, то есть через сорок два года, то есть в моём времени, такую форму можно было купить в магазине реквизита на «Авито» за три тысячи рублей.

Сейчас она была настоящей.

Я оделся. Подошёл к зеркалу. Молодой лейтенант смотрел на меня из мутного стекла — серьёзный, немного бледный после вчерашнего, с прямой спиной. Я поправил фуражку.

Двенадцать лет опером. Я знал, как раскрывать дела. Знал, как разговаривать с людьми. Знал, где врут и где говорят правду. Знал, на что обращать внимание и на что не тратить время.

У меня было тело двадцати трёх лет, память человека, который вырос в этом городе и три года учился в милицмейском училище, и голова человека, который пережил две тысячи двадцать два года и видел всякое.

Могло быть хуже.

Я взял со стола ключ от комнаты — один, на простом кольце, без брелоков — и вышел.

На улице было прохладно. Середина сентября, утро, небо затянуто облаками — не дождливыми, просто серыми, осенними. Я шёл по улице Строителей и осматривался.

Память работала хорошо. Лучше, чем я ожидал — как будто я здесь действительно прожил двадцать три года и просто давно не был в этом районе. Вот аптека, там всегда очередь с утра. Вот хлебный, он открывается в семь. Вот продуктовый — в этом городе его все называют

«стекляшкой» за стеклянные витрины. Я шёл и узнавал всё это, как узнают знакомые места после долгого отсутствия: с лёгкой ностальгией, которой по-настоящему не чувствуешь.

Краснозаводск был некрасивым и основательным одновременно. Широкие советские улицы, серые пятиэтажки, редкие старые дома в центре — купеческая постройка ещё, с облупившейся лепниной. Заводские трубы на горизонте, постоянный лёгкий запах промышленного дыма. Не неприятный — просто часть воздуха, как в некоторых портовых городах часть воздуха — соль.

Горотдел был в пятнадцати минутах пешком. Я знал дорогу.

Шёл и думал о том, что мне нужно. Нужно было устроиться на работу — это первое. Память тела говорила, что распределение уже есть: выпускников должны были направить по местам службы на следующей неделе. Но ждать неделю я не хотел. Каждый день без дела — это день, когда я не понимаю, что происходит, не имею доступа к информации и не встроен в систему.

Опер без места — никто.

Опер с удостоверением — уже кто-то.

Я потрогал нагрудный карман. Там было удостоверение — новенькое, ещё пахнущее типографией. Лейтенант милиции Воронов А.М. Фотография — я смотрел на неё в комнате, пока одевался, — молодое серьёзное лицо, взгляд прямой.

Сойдёт.

Перед входом в горотдел я остановился и закурил — рефлекторно, память тела сработала раньше головы. Папироса «Беломор» оказалась в кармане кителя. Я прикурил от спичек — это тоже пришло само — и сделал затяжку.

Отвратительно.

Я бросил курить в тридцать восемь лет и с тех пор не брал в рот. Но тело двадцати трёх лет курило — и курило охотно, с удовольствием. Это было странное ощущение: голова морщилась, а лёгкие привычно принимали дым.

Докурил до середины, затушил о стену, выбросил. Подумал, что надо бросать. Опять.

Зашёл внутрь.

Дежурный был немолодой, усатый, с видом человека, который слышал всё и ничему не удивляется. Посмотрел на меня — на форму, на погоны — и чуть поменял выражение лица: с безразличного на дежурно-внимательное.

— Лейтенант Воронов, — сказал я. — Только что из училища. Хотел бы поговорить с товарищем Нечаевым.

— По какому вопросу?

— По вопросу прохождения службы.

Дежурный посмотрел на меня ещё секунду, потом снял трубку телефона.

Я ждал и смотрел на доску с ориентировками на стене. Несколько листков с фотографиями, рукописные пометки. Обычная провинциальная криминальная картина: двое в розыске за грабёж, один за хулиганство. Ничего особенного.

Ничего особенного пока.

— Проходи, — сказал дежурный, положив трубку. — Второй этаж, третья дверь налево.

Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице. Нашёл третью дверь налево, постучал.

— Войдите.

Нечаев оказался именно таким, каким я его помнил по чужой памяти: крупный, с широким лицом, залысиной и усами. Серые внимательные глаза. Сидел за столом, смотрел на меня без особого выражения — как смотрит человек, к которому каждый день заходят люди, и почти никто из них не приносит ничего интересного.

— Лейтенант Воронов, — сказал я, остановившись у двери. — Разрешите?

— Заходи.

Я вошёл, сел на стул напротив — он не предлагал, но и не останавливал. Нечаев взял со стола карандаш, повертел в пальцах.

— Из нынешнего выпуска?

— Так точно.

— Распределение на следующей неделе.

— Я знаю. — Я смотрел на него прямо, без лишней почтительности — именно столько, сколько нужно с незнакомым начальником. — Но я хотел бы приступить раньше. Если есть такая возможность.

Нечаев посмотрел на меня чуть внимательнее.

— Почему раньше?

— Потому что работа есть, а я сижу, — сказал я.

Это была не легенда и не расчёт — просто правда, сказанная коротко. Нечаев несколько секунд смотрел на меня молча. Я не торопил.

— Куда хочешь?

— Угро.

— Там сейчас не хватает людей, — сказал он. Это прозвучало не как предупреждение, а как констатация. — Горелов работает за троих.

— Значит, я пригожусь.

Нечаев положил карандаш, встал, подошёл к окну. Смотрел на улицу, думал. Я ждал.

— Детдомовский? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да.

— Родственников нет?

— Нет.

Он обернулся. Посмотрел ещё раз — иначе, чем до этого. Не с жалостью и не с сочувствием. Просто с другим знанием.

— Ладно, — сказал он. — Оформим. Сегодня познакомишься с Гореловым, он введёт в курс. Завтра с утра — на работу.

— Спасибо.

— Не благодари. — Он уже сажился обратно за стол, доставая какие-то бумаги. — Там работа, не курорт.

— Я понимаю.

— Ступай.

Я встал, сделал шаг к двери. Нечаев сказал, не поднимая головы:

— Воронов.

— Да?

— Похмелье к завтрашнему утру чтобы прошло.

Я посмотрел на него. На его лице не было ничего — ни улыбки, ни осуждения. Просто факт.

— Пройдёт, — сказал я.

Вышел в коридор, прикрыл дверь. Постоял секунду. За окном в конце коридора был виден кусок улицы — серой, осенней, советской.

Тысяча девятьсот семьдесят девятый год. Мне двадцать три года и сорок два одновременно. У меня есть работа, восемь метров жилплощади и банка варенья, которой ещё нет, но которая появится — я это почему-то знал.

Пойдёт.

Горелов встретил меня в коридоре на первом этаже — Нечаев, видимо, успел позвонить. Посмотрел с ног до головы, как смотрит опытный человек на новичка: без враждебности, но и без авансов.

— Воронов? — уточнил он.

— Он самый.

— Горелов. — Пожал руку. Рукопожатие было крепким и коротким. — Пойдём, покажу хозяйство.

Хозяйство оказалось небольшим. Я всё это уже знал по чужой памяти, но смотрел заново — своими глазами, с другим опытом. Два кабинета для оперов, общий с тремя столами. Машиnistка Маша — лет тридцать пять, печатает с видом человека, приговорённого к вечной каторге. Молодой Петрухин за столом — третий год, пытается не показывать, что разглядывает меня.

— Вот твой стол, — сказал Горелов, указав на третий стол у окна. — Пока Семёнов на больничном — твой. Потом посмотрим.

Стол был деревянный, с расшатанной ножкой. На нём лежало несколько чистых бланков, стояла пепельница и две ручки. Я убрал пепельницу в ящик. Горелов это заметил.

— Не куришь?

— Бросаю, — поправил я.

Он хмыкнул, достал папиросу и закурил прямо в кабинете. Я смотрел в окно.

За окном был Краснозаводск — серый, промышленный, советский. Трамвайные пути на улице, тополя с облетающей листвой, женщина с авоськой на тротуаре. Обычный сентябрьский день.

Я сидел за своим столом и думал, что через двенадцать лет всего этого не будет. Не этого города — город останется. Но всё это: форма, кабинет, портрет на стене, папиросный дым, советская методичность и советская же бестолковость — всё это уйдёт. Я знал, как это закончится, и не мог никому об этом сказать.

Тяжело носить такое знание.

Зато легко работать.

— Дел много? — спросил я Горелова.

— Хватает, — сказал он. — Завтра введу в курс. Сегодня просто осмотришься.

— Хорошо.

Он ушёл в свой кабинет. Петрухин сделал вид, что читает бумаги. Маша печатала. За окном прошёл трамвай.

Я достал чистый лист бумаги, взял ручку и написал сверху: *Что я знаю*. Потом подумал и зачеркнул — мало ли кто прочтает. Написал по-другому: *Дела текущие*. И оставил страницу пустой.

Потом добавлю.

Времени у меня теперь было много.

Нина Васильевна ждала меня с ужином.

Не в смысле, что ждала — она не спрашивала, приду ли, и ничего не говорила о том, что готовила. Просто когда я вернулся в начале восьмого, на кухне стоял запах жареной картошки и гречки, и на столе была накрыта тарелка с крышкой — блюдцем, перевернутым вверх ногами, чтобы не остыло.

Я сел, поел. Нина Васильевна пила чай и читала ту же «Правду» — или другую, я не проверял.

— Устроился? — спросила она.

— Устроился.

— В милицию?

— В милицию.

Она кивнула — без удивления, без оценки. Налила мне чаю, придвинула сахарницу.

— У тебя кран в комнате капает, — сказала она. — Я слышу через стену.

— Завтра посмотрю.

— Хорошо.

Мы помолчали. Хорошее молчание — не неловкое, просто тихое. Я пил чай и думал о том, что завтра Горелов введёт меня в курс дел. Что надо запомнить всё с первого раза — здесь не погуглишь, не перепроверишь, нет криминалистических баз и видеозаписей. Только люди, бумаги и голова.

Зато голова у меня — с двенадцатилетним опытом.

— Как тебя звать-то? — спросила вдруг Нина Васильевна.

Я посмотрел на неё. Она смотрела из-за газеты — внимательно, без улыбки.

— Алексей, — сказал я. — Воронов.

— Алёша, значит.

— Можно Алёша.

Она кивнула и вернулась к газете. Я допил чай, помыл кружку, повесил на крючок. У двери остановился.

— Нина Васильевна.

— М?

— Спасибо за ужин.

Она не ответила сразу — дочитывала что-то. Потом, не поднимая головы:

— На здоровье, Алёша.

Я пошёл к себе. В комнате был слышен тихий звук — кап, кап, кап — из-за крана. Я лёг на кушетку, закинул руки за голову и смотрел в потолок с трещиной.

Тысяча девятьсот семьдесят девятый год. Краснозаводск. Мне двадцать три и сорок два. Завтра первый рабочий день.

Кап.

Кап.

Кап.

Я закрыл глаза.

Глава 2

Горелов пришёл в восемь ровно.

Я уже был на месте — пришёл в половину восьмого, потому что не знал, во сколько надо, и решил, что лучше раньше. Сидел за своим столом у окна, пил чай из стакана в подстаканнике — такие стаканы я видел только в поездах, а оказалось, что здесь они везде, — и смотрел на улицу.

Утро было серым. Не пасмурным — просто серым, как бывает в середине сентября, когда лето уже ушло, а осень ещё не решила, всерьёз она или нет. По улице шли люди — на работу, в магазин, куда-то ещё. Я смотрел на них и думал, что через сорок лет эта улица будет другой. Другие машины, другие вывески, другая одежда. Люди, наверное, те же самые — в смысле, такие же: торопятся, не смотрят друг на друга, думают о своём.

Это была успокаивающая мысль, хотя я не сразу понял, почему.

— Рано пришёл, — сказал Горелов, появившись в дверях. Не с одобрением и не с осуждением — просто констатировал факт.

— Привычка, — ответил я.

Он повесил пальто на крючок, сел за свой стол, открыл верхний ящик, достал папиросы, закурил. Всё это — одним слитным движением, как делают вещи, которые делают каждое утро много лет подряд. Потом достал из того же ящика тощую папку и бросил её на мой стол.

— Читай. Потом поговорим.

Я читал.

Папка содержала четыре незакрытых дела. Первое — кража велосипеда у некоего гражданина Пименова, пятьдесят четыре года, инженер. Велосипед «Урал», синий, стоял у подъезда, утром пропал. Второе — хулиганство в пивном баре на улице Кирова, трое неустановленных лиц побили гражданина Старикова, сорок один год, слесарь. Третье — заявление о пропаже денег из тумбочки в общежитии завода «Красный металлург». Четвёртое — жалоба на систематический шум от соседей, проживающих в квартире сорок шесть.

Я прочитал всё это и закрыл папку.

— И что? — спросил я.

Горелов посмотрел на меня из-за стола.

— Что — что?

— Это всё текущие?

— Текущие.

— Хорошо, — сказал я. — С чего начнём?

Он помолчал секунду. Потом взял папиросу, затянулся, выпустил дым в сторону окна.

— С планёрки, — сказал он. — Через двадцать минут. Потом посмотрим, что выплывет. Выплыло довольно быстро.

Планёрка у Нечаева длилась двадцать минут и была устроена просто: он сидел за столом, мы — я, Горелов и Петрухин — сидели напротив, он говорил, мы слушали. Нечаев разбирал показатели за неделю. Слова «раскрываемость» и «процент» звучали часто — как заклинания, которые нужно произносить в правильном порядке, чтобы всё было хорошо.

Я слушал и думал, что это знакомо. Не здесь — дома. Те же слова, та же логика: цифра важнее человека, отчёт важнее правды. За сорок лет ничего особенно не изменилось, только слова стали другими.

— Воронов, — сказал Нечаев.

Я поднял голову.

— Сегодня с Гореловым. Смотри, слушай. Вопросы потом.

— Понял.

Нечаев закрыл папку.

— Всё. Работайте.

Мы вышли в коридор. Петрухин ушёл куда-то по своим делам. Горелов остановился, достал папиросу — вторую за утро, — и посмотрел на меня с тем выражением, которое я у него уже начинал распознавать: оценивающим, без лишнего.

— Велосипед пойдём отрабатывать, — сказал он. — Пименов живёт на Садовой. Заодно посмотришь район.

— Хорошо.

— И не задавай лишних вопросов при свидетелях, — добавил он, уже идя к выходу.

— В смысле?

— В смысле, ты новый. Пока молчи и слушай. Потом сам разберёшься.

Это был полезный совет. Я его принял.

Пименов жил на третьем этаже пятиэтажки — типовой, панельной, с облупившимися перилами на лестнице. Открыл дверь сразу, будто ждал. Мужчина лет пятидесяти с небольшим, в домашней рубашке, с таким лицом, на котором обида и усталость смешались в равных пропорциях.

— Наконец-то, — сказал он. — Я ещё вчера заявление подавал.

— Знаем, — сказал Горелов. — Можно войти?

Вошли. Квартира была маленькой, чистой, немного тесной от мебели — советская стандартная обстановка: стенка, диван, телевизор. На стенке стояли книги и хрустальные рюмки за стеклом.

Пименов рассказывал долго и подробно. Велосипед купил три года назад, почти новый, брал с рук у сослуживца, всегда ставил у подъезда, пристёгивал цепью к трубе. В понедельник утром цепь была перерезана, велосипеда не было. Цепь он сохранил — показал нам: ровный срез, хороший инструмент.

— Кто мог видеть велосипед? — спросил Горелов.

— Да все могли. Я его там три года ставил.

— Соседи конфликтные есть?

— Нет. Нормальные соседи.

— Ладно, — сказал Горелов, записывая в блокнот. — Разберёмся.

Я молчал, как и было велено. Смотрел на срез цепи — ровный, профессиональный. Смотрел на Пименова. Думал.

На лестнице, когда мы уходили, я тихо сказал Горелову:

— Цепь резали кусачками. Хорошими, не за сто рублей.

Горелов покосился на меня.

— И что?

— Это не случайный воришка. Случайный воришка так не режет. Этот знал, что берёт, и пришёл подготовленным.

— Может быть, — сказал Горелов без особого интереса.

— У Пименова в квартире стенка с хрусталём, — продолжил я. — Ковёр на стене видел? Дефицит. Значит, человек с достатком выше среднего. Вор это знал.

Горелов остановился на лестничной площадке, посмотрел на меня.

— Ты откуда всё это?

— Смотрел, — сказал я.

Он помолчал секунду. Потом хмыкнул — коротко, без улыбки — и пошёл вниз.

— Велосипед нам не вернуть, — сказал он на улице. — Давно ушёл. Но заявление есть, опрос сделали, галочка стоит.

— Галочка, — повторил я.

— Не нравится?

— Нет.

— Научись, — сказал Горелов спокойно.

Я промолчал. Подумал: нет, не научусь. Но спорить не стал.

До обеда мы объехали ещё два адреса. На Кирова опросили бармена из пивного бара, который хулиганства «не видел», хотя драка была прямо у стойки — обычное советское «не видел, не слышал, не знаю». На заводском общежитии поговорили с комендантшей насчёт пропавших денег из тумбочки — та сразу назвала имя возможного вора: сосед по комнате, «пьёт и ворует, все знают», но официально ничего не докажешь.

Горелов работал методично, без спешки, без лишних слов. Записывал, кивал, уточнял. Иногда — редко — задавал вопрос, который неожиданно вскрывал что-то важное. Я начинал понимать, что он хороший опер. Не блестящий — но настоящий, из тех, кто делает работу каждый день и не ждёт, пока работа станет интересной.

Я таких уважал. Дома тоже были такие.

В начале второго Горелов остановил машину у пирожковой на проспекте Ленина.

— Обедаем.

Пирожковая была маленькой, с тремя столиками и очередью в четыре человека. Пирожки стоили пять копеек. Горелов взял четыре с мясом, я взял три с картошкой и стакан томатного сока — красный, густой, с солонкой рядом, я про такой только читал. Сел, посолил, выпил. Оказалось хорошо.

— Как впечатления? — спросил Горелов.

— Нормально.

— Нормально, — повторил он. — Это ты сейчас про работу или про сок?

— Про обоих.

Он усмехнулся. Первый раз за день — по-настоящему, не для вида.

— Вопросы есть?

Вопросов было много. Но я выбрал один.

— Почему по делу Пименова никто не смотрел на связь с другими кражами?

Горелов жевал пирожок, смотрел на меня.

— Какими другими кражами?

— В журнале заявлений, — сказал я. — Я вчера смотрел, пока ждал. Три похожих заявления за месяц. Все из одного района — Заречный. Все чистые работы, без взлома. Все пострадавшие — люди с достатком.

Горелов дожевдал. Взял второй пирожок. Думал.

— Ты вчера это заметил?

— Да.

— И сразу отложил в голову?

— Папку отложил, — поправил я. — К себе в стол.

Он посмотрел на меня странно. Не подозрительно — скорее, как человек, который пересматривает что-то, что уже решил.

— Давно в угро хотел?

— Всегда, — сказал я. Это была правда — с другой стороны правда, но всё равно.

— Понятно, — сказал он. — Покажешь папку, когда вернёмся.

— Покажу.

Мы доели молча. На улице было уже прохладнее, чем утром, — ветер поднялся, погнал по тротуару первые листья.

Горелов закурил. Я смотрел на листья.

— У тебя в детдоме как было? — спросил он вдруг.

Вопрос был неожиданным. Я чуть помолчал — не потому что не знал ответа, а потому что искал правильный. Память тела давала мне сухие факты: детдом в Энгельсе, директор

Сергей Палыч, восемнадцать человек в группе, серая каша по утрам. Но что это значило — чувствовать я не мог, это было чужое.

— Нормально было, — сказал я. — Не жаловался.

— Понятно, — сказал Горелов. — Это значит «по-разному было».

Я посмотрел на него. Он курил, смотрел на улицу.

— У меня племянник в детдоме рос, — сказал Горелов. — Брат умер рано. — Пауза.

— Нормальный вырос парень.

— Хорошо.

— Да. — Он бросил окурок. — Ладно. Поехали.

Вызов пришёл в половину четвёртого.

Дежурный по телефону сказал коротко: драка на танцплощадке в Парке культуры, двое пострадавших, один с ножевым. Горелов уже надевал пальто, когда я вышел из кабинета.

— Поехали.

Парк культуры имени Горького — такие были в каждом советском городе, я понимал это по памяти тела — находился в двадцати минутах езды. Горелов гнал быстро, не разговаривал. Я смотрел на улицы, мелькавшие за окном, и привычно прокручивал в голове: драка с ножом, двое пострадавших, танцплощадка. Возможные варианты: бытовой конфликт, пьяная ссора, что-то личное. Вероятнее всего — первое или второе.

Дорожка к танцплощадке была обсажена тополями, уже почти голыми. На скамейке у входа сидел мужчина — лет тридцати пяти, в рабочем пиджаке, с тряпкой, прижатой к плечу. Тряпка была красной. Рядом с ним стояла женщина в плаще и плакала в голос. Чуть дальше на земле сидел второй мужчина — помоложе, лет двадцать восемь, с разбитым носом и таким видом, будто он одновременно и герой, и уже жалеет об этом.

Тут же был участковый — я его не знал, память тела выдала только имя: Семёнов, крупный, с красным лицом. Стоял, смотрел с выражением человека, которого оторвали от чего-то важного.

— Что тут? — спросил Горелов.

— Вот этот, — Семёнов кивнул на молодого с разбитым носом, — пырнул вот этого, — кивок на сидящего с тряпкой. — Из-за бабы.

— Из-за меня? — вскинулась женщина. — Из-за меня?! Я тут при чём вообще!

— Тихо, — сказал Горелов без повышения голоса. Она замолчала — не сразу, но замолчала.

Я подошёл к пострадавшему, присел рядом.

— Покажите.

Он отнял тряпку. Рана была на плече — неглубокая, скорее всего, вскользь задело. Крови много, но не опасно.

— Скорую вызвали? — спросил я.

— Едет, — сказал Семёнов.

— Хорошо. — Я встал, посмотрел на молодого. — Как тебя зовут?

— Котов. Андрей.

— Котов Андрей. Нож где?

Он мотнул головой в сторону урны. Я подошёл, заглянул — нож лежал сверху, обычный складной, с деревянными накладками. Не трогать, это для протокола.

— Пьяный? — спросил я.

— Выпил немного.

— Немного — это сколько?

Он подумал.

— Пол-литра, может.

— Может, или пол-литра?

— Пол-литра.

— Хорошо, — сказал я. — Сиди, никуда не уходи.

Горелов уже разговаривал с Семёновым — тихо, в стороне. Я подошёл к женщине. Она стояла, сжав руки на груди, смотрела то на одного, то на другого — растерянная, красная от слёз.

— Что случилось? — спросил я. — Своими словами, по порядку.

— Да они идиоты оба, — сказала она. — Колька — это вот который сидит — он мой муж. А Андрей — ну, знакомый. Просто знакомый! Мы танцевали, Колька увидел, ну и... — Она махнула рукой. — Они всегда так.

— Всегда?

— Ну, Колька ревнивый. Это уже третий раз за год.

— Третий раз с ножом?

— Нет, нет, ножа раньше не было. Просто дрались.

Я кивнул. Посмотрел на Кольку — тот смотрел на жену с таким выражением, в котором обида и виноватость боролись за первое место. Обычная история. Банальная. Два взрослых человека, которые не умеют решать проблемы словами.

Приехала скорая, забрала Кольку. Котова Горелов отвёл к машине — составлять протокол. Я подошёл к Семёнову.

— Котова возьмут? — спросил я.

— За что? — сказал Семёнов. — Потерпевший заявление писать не будет, это понятно. Жена не даст. Запротоколируем хулиганство, штраф выпишем.

— Штраф, — повторил я.

— А что ты хочешь? Судить его за что?

— За то, что пырнул человека ножом.

Семёнов посмотрел на меня как на немного странного.

— Слушай, ты первый день, что ли?

— Второй, — сказал я.

— Вот именно. — Он достал папиросу. — Там семья. Жена не даст показания против мужа, потерпевший заявление заберёт, потому что ему с этой семьёй ещё в одном доме жить. Что ты с этим сделаешь?

Я мог бы многое сказать. Не сказал ничего — потому что он был прав по факту, даже если не прав по существу. Повернулся и пошёл к Горелову.

— Отпустим Котова? — спросил я.

— Штраф и подписка, — сказал Горелов. — Потерпевший заявление не напишет.

— Ты уверен?

— Четыре года работаю с этим участком. Уверен.

Я замолчал. Смотрел на Котова — тот сидел на заднем сиденье «уазика», хмурый, протрезвевший. Нормальный с виду мужик. Но он воткнул нож в человека из-за того, что тот танцевал с чужой женой.

— Степан Иванович, — сказал я.

— М?

— А если в следующий раз он не плечо заденет?

Горелов посмотрел на меня долго. Потом сказал — без раздражения, но твёрдо:

— Тогда будет другое дело. А пока — вот это.

Он кивнул на блокнот с протоколом. Я не ответил.

Мы оформили Котова, отпустили, поехали обратно. Я сидел на пассажирском сиденье и смотрел на дорогу. Думал о том, что это называлось — и дома тоже иногда называлось — «не наше дело». Семейное. Бытовое. Само рассосётся. А потом не рассасывалось — и тогда уже было наше дело, только уже поздно.

Горелов чувствовал моё молчание.

— Первый раз всегда так, — сказал он. — Потом привыкаешь.

— К чему?

— К тому, что нельзя всё. Только часть.

Я смотрел в окно.

— Я понимаю, — сказал я. — Но привыкать не собираюсь.

Горелов промолчал. Кажется, это его устроило.

В отдел вернулись около шести. Петрухин ушёл, Маша ещё печатала — методично, как паровая машина. Я сел за свой стол, достал из ящика папку с заявлениями по кражам, положил перед Гореловым.

— Вот, — сказал я.

Он взял, полистал. Молча. Я наблюдал за его лицом — опытный опер читает документы иначе, чем просто читает: сканирует, останавливается на деталях, возвращается.

— Три квартиры, — сказал он наконец. — Заречный район. Без следов взлома.

— И все трое пострадавших — люди с достатком. Я проверил адреса: улица Строителей, улица Победы, Садовая. Это всё один квартал. — Я помолчал. — И все трое в течение месяца до кражи обращались в ЖЭК. Один — по поводу обмена площади, второй — после ремонта трубы, третий — по поводу переезда.

Горелов поднял голову.

— Откуда ты знаешь про ЖЭК?

— Читал заявления внимательно. Там упоминается, по касательной.

— По касательной, — повторил он. — Ты всё читаешь вот так?

— Стараюсь.

Он снова посмотрел в бумаги. Помолчал.

— Ладно, — сказал он. — Завтра сходим в ЖЭК. Посмотрим на их журналы.

— Хорошо, — сказал я.

— Только тихо, — добавил он. — Без шума. Если это ЖЭК — там кто-то из сотрудников.

Спугнём — уйдут.

— Понимаю.

Горелов встал, надел пальто. Уже у двери остановился.

— Воронов.

— Да?

— Ты хорошо смотришь, — сказал он. Не с теплотой — просто констатировал. Так же, как утром констатировал, что я пришёл рано. — Это полезно.

Ушёл. Я сидел ещё минут десять, перечитывал бумаги, потом собрался и тоже пошёл.

На улице было уже темно — в сентябре темнеет рано. Я шёл по проспекту Ленина, поднял воротник, сунул руки в карманы кителя. Ботинки постукивали по асфальту — не мои ботинки, в смысле, не те, которые я выбрал бы сам, но других не было.

Думал о Котове. О Пименове. О трёх кражах в Заречном районе.

Думал о Зое — первый раз за день, и почувствовал что-то неприятное: не острое горе, а тупую, фоновую боль. Она там, в другом времени, в другой жизни. Маша там. Они, наверное, уже знают про аварию на МКАДе. Белый «Хавал», правый ряд, пятница вечером. Что там осталось от машины — я не знал. Что там осталось от меня — тоже не знал.

Странно думать о своей смерти в прошедшем времени.

Я остановился у витрины хозяйственного магазина — там в окне стояли кастрюли, тазы, всякая утварь. Посмотрел на своё отражение в стекле. Молодое незнакомое лицо смотрело обратно. Я уже привыкал к нему — за день привык, как привыкают к новой квартире: сначала всё не то, потом просто квартира.

Пошёл дальше.

В коммуналке в коридоре горел свет.

Я снял китель в своей комнате, повесил на спинку стула, переоделся в гражданское — брюки, рубашка. Из кухни шёл запах. Хороший запах — жареный лук и что-то ещё, мясное.

Я вышел в коридор, прошёл на кухню.

Нина Васильевна стояла у плиты. Обернулась, когда я вошёл.

— Пришёл, — сказала она.

— Пришёл.

— Руки мой, садись.

Я помыл руки у раковины, сел за стол. Она поставила передо мной тарелку — котлеты с картошкой, серьёзные, домашние, не столовские. Хлеб. Стакан с компотом.

— Это за что? — спросил я.

Она удивлённо посмотрела на меня.

— Что — за что?

— Ну, котлеты. Вчера гречка, сегодня котлеты.

— Живёшь же, — сказала она, как будто это всё объясняло.

Я помолчал. Потом начал есть. Котлеты были хорошими — с луком, плотные, правильно поджаренные. Я не ел домашней еды давно — в том смысле, что дома не готовил, питался столовой и всякой готовой едой из магазина. Здесь это было невозможно — здесь надо было либо готовить самому, либо вот так. Либо пирожковая на проспекте.

Нина Васильевна убиралась за плитой, потом налила себе чаю, села напротив с чашкой и газетой.

Мы помолчали — хорошо, без напряжения.

— Тяжёлый день? — спросила она, не отрываясь от газеты.

— Средний.

— Значит, тяжёлый, — сказала она. — Когда средний — говорят «нормальный».

Я подумал. Наверное, она была права.

— Видел, как человека с ножевым увозили, — сказал я. — Ничего страшного, жить будет. Но неприятно.

— Первый раз?

— На этой работе — да.

Она кивнула, перевернула страницу газеты.

— Мой муж говорил: к этому не привыкаешь. Привыкаешь делать своё дело несмотря на это. Это разные вещи.

Я перестал жевать.

— Он давно умер? — спросил я.

— Семь лет назад, — сказала она ровно. — За столом, прямо на работе. Инфаркт. —

Пауза. — Расследование вёл, большое, полгода. Не закончил.

— Жалеете?

Она подняла голову от газеты, посмотрела на меня.

— О чём?

— Что он занимался этим. Такой работой.

Она подумала — серьёзно, без спешки.

— Нет, — сказала она. — Он любил её. Это было видно. Такие люди — если не делают то, что должны, — они и так умирают. Просто по-другому.

Я смотрел на неё. Она снова смотрела в газету.

— Поешь до конца, — сказала она. — Картошка остынет.

Я доел. Помыл тарелку, поставил на место. Налил себе чаю из чайника, сел обратно.

— Нина Васильевна, — сказал я.

— М?

— У вас кран в ванной нормально работает?

Она удивлённо посмотрела на меня.

— Вроде да. А что?

— Ничего. Просто если что — скажите.

Она смотрела на меня секунду, потом вернулась к газете.

— Скажу.

Мы ещё немного посидели молча. За окном кухни была темнота и редкие фонари. По улице прошёл трамвай — далеко, почти неслышно.

Я думал о барахолке. О ЖЭКе, в который мы пойдём завтра. О Котове, которого отпустили со штрафом. О Горелове, который сказал «ты хорошо смотришь» — просто, без лишнего.

Потом я думал о Маше. Ей было восемь лет. В пятницу вечером, когда я ехал домой, она, наверное, уже спала — она рано ложилась. Может, не спала. Может, смотрела мультики. Я не знал, это меня беспокоило тупо и постоянно, как больной зуб, к которому не хочешь прикасаться языком, но он всё равно там.

— Спокойной ночи, — сказал я, вставая.

— Спокойной ночи, Алёша.

Я пошёл к себе. Лёг на кушетку, закинул руки за голову.

Где-то за стеной тихо капал кран — не у меня, у кого-то из соседей. Я лежал и слышал его, и думал, что завтра надо спросить у Нины Васильевны, у кого именно. Может, помогу.

Потом достал из-под матраса тетрадь, раскрыл на той странице, где вчера написал «дела текущие» и оставил пустое место. При свете лампы написал:

Барахолка. ЖЭК, трое пострадавших, один район. Зоя — нервничала. Проверить журналы.

Подумал. Добавил:

Котов А. Штраф. Жена не даст показания. Через год — или не через год — будет следующий раз. Ничего не могу.

Закрыл тетрадь. Убрал под матрас.

Потушил лампу.

В темноте было тихо. Только тот далёкий кран — кап, кап, кап — как метроном, который кто-то забыл выключить.

Я закрыл глаза.

Глава 3

Горелов пришёл в восемь, как вчера.

Я уже сидел за столом — снова раньше, снова с чаем в подстаканнике. Он посмотрел на меня, не удивившись, повесил пальто, достал папиросу. Утренний ритуал, теперь мне знакомый.

— ЖЭК в девять открывается, — сказал он, не здороваясь. — Пойдём пешком, тут близко.

— Хорошо.

— Ты вчера думал про это?

— Да.

— И?

Я достал из ящика стола лист бумаги, на котором вечером записал кое-что. Три кражи, три адреса, три обращения в ЖЭК в течение месяца до каждой кражи. Дата обращения, дата кражи, промежуток. Семь дней, одиннадцать дней, девять дней. Достаточно, чтобы выбрать момент, но не так много, чтобы данные устарели.

Горелов взял лист, прочитал. Молча вернул.

— Ты и ночью работал?

— Вечером. Не спалось.

Он помолчал, закуривая.

— Значит, кто-то в ЖЭКе смотрит на карточки жильцов и понимает, у кого есть что взять.

— Да. Перед переездом или обменом люди перечисляют имущество. При ремонте трубы мастер ходит по квартире, видит обстановку. Данные оседают в ЖЭКе.

— Это мог быть мастер.

— Мог. Но тогда три кражи из разных домов — это три разных мастера или один, который работает по всему кварталу. Проще предположить одного человека за бумагами.

Горелов затаился, выпустил дым к потолку.

— Хорошо рассуждаешь, — сказал он. Не похвала — наблюдение. — Откуда?

— Читал много, — сказал я.

Это была правда, если считать двенадцать лет оперативной работы разновидностью чтения.

ЖЭК номер семнадцать находился в кирпичном одноэтажном здании на улице Победы — угловом, с облупившейся вывеской и двумя ступенями у входа, одна из которых была треснута. Внутри пахло канцелярией и старой бумагой. Дощатый пол, крашенный коричневой краской, скрипел под ногами.

За деревянным барьером сидели три женщины. Одна — пожилая, с халой на голове, печатала что-то. Вторая — молодая, лет двадцати пяти, разбирала бумаги. Третья — лет сорока пяти, крупная, светловолосая — разговаривала по телефону.

Я смотрел на светловолосую. Горелов показал удостоверение молодой.

— Горелов, угро. Нам нужно посмотреть журналы обращений граждан за последние два месяца.

Молодая растерялась — посмотрела на светловолосую. Та закончила говорить по телефону, положила трубку, обернулась.

— Это по какому поводу?

— Рабочий, — сказал Горелов.

Светловолосая смотрела на него секунду. Потом на меня. Потом встала.

— Журналы у нас хранятся в архиве. Я могу помочь найти нужное, если скажете, что именно.

— Нам нужно самим посмотреть, — сказал я.

Она чуть помедлила — совсем немного, доля секунды. Потом улыбнулась профессионально.

— Конечно. Пройдёмте.

Архив оказался небольшой комнатой с металлическими стеллажами вдоль стен. Папки, журналы, картонные коробки — всё аккуратно подписано, советский порядок в советских бумагах. Светловолосая принесла нам два журнала — август и сентябрь — и вышла.

Я взял сентябрьский, Горелов — августовский.

Мы читали молча. Журнал был обычным: дата, адрес, тип обращения, фамилия сотрудника, принявшего заявку. Я листал и смотрел на графу «сотрудник».

Через десять минут я нашёл то, что ожидал найти.

Все три адреса пострадавших — улица Строителей, улица Победы, Садовая — в журнале стояли с одной и той же фамилией в графе сотрудника. Зоя Кравцова.

— Степан Иванович, — тихо сказал я.

Горелов посмотрел через плечо. Я показал пальцем. Он прочитал. Кивнул — едва заметно.

Я аккуратно переписал данные в блокнот, закрыл журнал, поставил на место. Мы вышли из архива. Светловолосая стояла у своего стола — делала вид, что занята бумагами.

— Нашли что нужно? — спросила она.

— Да, спасибо, — сказал Горелов. — У вас работает Кравцова Зоя...

— Зинаида Александровна, — поправила светловолосая.

— Зинаида Александровна Кравцова. Она сейчас здесь?

— Нет. У неё сегодня выходной.

— Понятно. Спасибо.

Мы вышли. На ступеньках Горелов закурил. Я стоял рядом, смотрел на улицу. По тротуару шла женщина с двумя авоськами, обе тяжёлые, она несла их ровно, привыкнув.

— Не берём её сейчас, — сказал Горелов. — Нужно посмотреть, кому она передаёт. Иначе закроем только её, а дальше ничего.

— Согласен.

— Завтра выйдет — понаблюдаем.

— Хорошо.

Он докурил, бросил окурочек.

— Ты хорошо работаешь с бумагами, — сказал он. — Это не все умеют. Обычно молодые рвутся бежать и хватать. А ты сидишь и читаешь.

— Торопливость тут не помогает, — сказал я.

— Именно. — Он посмотрел на меня коротко. — Пошли. Нас ждут.

— Куда?

— На завод. Там вчера директор умер.

Завод «Красный металлург» стоял на северной окраине города — я видел его трубы с первого дня, они торчали над крышами. Вблизи он оказался ещё больше, чем казался издали: длинные корпуса из красного кирпича, ворота с красной звездой над аркой, проходная с турникетом. Вохровец у ворот проверил удостоверения без особого интереса, махнул рукой — проходите.

Нас встречал заместитель директора по производству — невысокий мужчина лет пятидесяти, в костюме и с таким видом, будто он одновременно очень занят и очень напуган. Фамилия Сырцов, это я запомнил сразу.

— Ужасное событие, — говорил он, ведя нас по коридору. — Совершенно неожиданно. Николай Иванович был в полном здравии, никаких жалоб, вчера ещё на планёрке сидел, всё нормально.

— Когда его обнаружили? — спросил Горелов.

— Утром. Уборщица Галина Тимофеевна пришла в начале восьмого, он уже... — Сырцов сглотнул. — За столом сидел. Она решила, что спит. Потрогала — а он холодный.

— Доктор когда приехал?

— Быстро приехал. Наш медпункт тут же, Семён Борисович пришёл через пять минут. Он и констатировал. Инфаркт.

— Семён Борисович сейчас здесь?

— Да, в медпункте.

— Хорошо. Сначала в кабинет.

Кабинет директора был на втором этаже — просторный, с большим столом, двумя шкафами со стёклами, диваном вдоль стены. Портрет Брежнева над столом, разумеется. На столе был полный порядок: бумаги сложены стопкой, ручки в стакане-подставке, пепельница пустая. Чистая пепельница — значит, не курил в кабинете или курил и убирал. Рядом со стопкой бумаг стоял стакан с водой. Почти полный.

Я остановился в дверях и смотрел на кабинет, не заходя.

Горелов прошёл к столу, нагнулся, посмотрел на кресло, на пол рядом. Потом выпрямился.

— Где тело?

— В морге уже. Семён Борисович распорядился.

— Быстро распорядился, — сказал Горелов без особого выражения.

Я вошёл в кабинет. Прошёл медленно — от двери к столу, потом вдоль окна, потом обратно. Смотрел на пол, на поверхности, на мелочи.

Три вещи.

Первое — стакан с водой. Почти полный. Если человеку плохо с сердцем, он, как правило, тянется к воде — пьёт или пытается выпить. Стакан должен быть опрокинут, или пустой, или хотя бы сдвинут с места. Этот стоял ровно. Идеально ровно.

Второе — ручки в стакане-подставке. Пять ручек, все смотрят в одну сторону — кончиками вверх, аккуратно. Люди, которые умирают внезапно за столом, не успевают аккуратно поставить ручки. Скорее всего, они уже стояли так, и он их не трогал. Но это значит, что он не работал перед смертью — просто сидел. Зачем?

Третье — запах. Едва уловимый, кисловатый, химический. Не табак, не что-то знакомое. Я пытался вспомнить, где слышал такое, и не мог. Но оно было — очень слабо, на грани.

Горелов смотрел на меня.

— Что?

— Ничего, — сказал я. — Посмотрим ещё на доктора.

Сырцов провёл нас в медпункт. Семён Борисович оказался маленьким и сухим мужчиной лет шестидесяти, с аккуратными усиками и взглядом человека, который привык, что ему доверяют. Доктор старой закалки — такие умеют говорить авторитетно и неторопливо.

— Сердечная недостаточность, — сказал он, когда Горелов спросил. — Острая. Возраст, нагрузки, стресс. Совершенно не удивительно. Я Николаю Ивановичу сам говорил — беречься надо, режим. Он только рукой махал.

— Внешние признаки были?

— Какие внешние признаки? Инфаркт — это внутреннее. Цвет лица немного синюшный, но это постмортальные изменения, нормально.

— Вы давно его наблюдали?

— Лет восемь, как он на заводе. Гипертония у него была, это да. Но таблетки пил, следил.

Горелов кивал и записывал. Я сидел на стуле у стены и смотрел на Семёна Борисовича. — Скажите, — сказал я. — Вы когда пришли в кабинет, что-нибудь необычное заметили? Доктор посмотрел на меня с лёгким удивлением — кто этот молодой, что задаёт вопросы? — Необычное?

— Запах, например.

— Запах? — Он чуть помедлил. — Нет. Обычный кабинет.

Слишком быстро сказал «нет» и слишком медленно подумал перед этим. Я отметил и промолчал.

— Спасибо, — сказал Горелов, закрывая блокнот. — Если понадобится — позвоним.

На улице, у машины, Горелов остановился и посмотрел на меня.

— Ну?

— Это не инфаркт, — сказал я.

Горелов молчал секунду.

— Откуда уверен?

— Стакан с водой стоит ровно. Человек с острым сердечным приступом не оставляет ровно стоящий стакан с водой. — Я помолчал. — И запах. В кабинете был запах — едва уловимый, химический. Доктор заметил его тоже, но сказал «нет».

— Ты думаешь, доктор врёт?

— Я думаю, доктор испугался. Это немного другое.

Горелов достал папиросу. Думал.

— Официально дело ведётся как несчастный случай, — сказал он наконец. — Нечаев его уже закрыл вчера вечером, я видел бумагу. Чтобы открыть снова — нужны основания.

— Я знаю.

— У тебя есть основания?

— У меня есть наблюдения, — сказал я. — Это не одно и то же.

Горелов закурил, посмотрел на заводские трубы. Над ними тянулся белый дым в серое небо.

— Ты понимаешь, — сказал он медленно, — что этот завод — это горком, это план, это люди наверху. Если ты начнёшь копать и ничего не найдёшь — нам обоим будет нехорошо.

— Понимаю.

— И всё равно хочешь?

Я подумал секунду. Не потому что сомневался — просто вопрос был честный, и он заслуживал честного ответа.

— Там есть что копать, — сказал я. — Я это чувствую. А чувствую я редко, когда ошибаюсь.

Горелов смотрел на меня долго. Потом затащил последний раз, бросил окурок.

— Ладно, — сказал он. — Тихо. Без бумаг пока. Смотри, ищи. Если найдёшь что-то твёрдое — поговорим с Нечаевым.

— Договорились.

— И ещё, — добавил он, садясь в машину. — Об этом никому.

— Само собой.

После завода мы разделились — Горелов поехал на другой вызов, я пошёл пешком обратно в отдел. Мне нужно было подумать.

Шёл по проспекту Ленина, засунув руки в карманы, и перебирал в голове то, что знал. Савченко мёртв. Официально — инфаркт. Неофициально — три детали, которые с инфарктом не вяжутся. Доктор что-то заметил и промолчал. Это означало либо испуг, либо соучастие — разница в степени вины, а не в факте.

Нужен был кто-то, кто знал Савченко близко. Не сослуживец, не замдиректора в костюме — кто-то, кто видел его как человека.

Память тела молчала — она не знала людей с этого завода. Но у меня был Митрич.

Митрич жил в двух кварталах от горотдела, в полуподвале, который он называл квартирой. Я зашёл к нему без предупреждения — так было принято, он сам сказал.

Митрич открыл дверь в майке, заспанный, хотя было уже половина двенадцатого.

— А, лейтенант, — сказал он без удивления. — Заходи.

Полуподвал был тёмным и тесным. Кровать, стол, два стула, полка с какими-то банками. Пахло куревом и варёной картошкой.

— Садись, — Митрич кивнул на стул. — Чаю?

— Нет, спасибо. У меня вопрос.

— Ну.

— Савченко. Директор с «Красного металлурга». Ты его знал?

Митрич почесал затылок.

— Ну, видел. Не близко. Ездил на чёрной «Волге», важный был. А что?

— Умер вчера.

— Слышал уже. У нас в доме живёт тётка, её муж там работает — она вчера вечером соседям рассказывала. Инфаркт вроде.

— Вроде. Кто его знал хорошо? Не с работы — по-человечески.

Митрич подумал. Он всегда думал именно столько, сколько нужно, — это мне в нём нравилось.

— Бухгалтерша у него была, Кравцова. Людмила. Они вроде... — Он сделал неопределённый жест. — Ну, понятно. Лет пять уже. Неофициально.

— Адрес знаешь?

— Дом знаю. Улица Кирова, семнадцать. Квартиру не знаю.

— Хватит. — Я встал. — Спасибо.

— Лейтенант, — сказал Митрич.

— Что?

— Ты осторожно с заводом. Там люди серьёзные.

Я посмотрел на него. Он говорил без иронии — просто информировал.

— Какие именно люди?

— Громов там есть, партийный куратор. Вот он серьёзный. Очень.

— Расскажи.

Митрич сел поудобнее — он любил рассказывать, когда его просили.

— Громов Валентин Сергеевич. В горкоме сидит, курирует промышленность. Умный, осторожный. Никогда ничего напрямую — всегда через людей, через бумаги. — Митрич помолчал. — Говорят, лет пять назад один инженер с завода что-то такое нашёл — пошёл жаловаться. Больше его не видели.

— Уехал?

— Может, уехал. Может, нет. — Митрич пожал плечами. — Я этого не знаю точно. Просто говорят.

— Понял.

— Ты понял, лейтенант? — Он смотрел на меня с чем-то похожим на беспокойство. — Это не велосипед с ними разбирать.

— Понял, Митрич. Спасибо.

Людмила Кравцова жила на третьем этаже. Я нашёл нужную квартиру по табличке с фамилией на двери — советская привычка, всё подписано. Позвонил.

Она открыла через минуту. Лет тридцати пяти, крашеная блондинка, крупная, хорошо одетая даже дома — халат дорогой, не ситцевый. Лицо заплаканное, но держится. Смотрела на меня и на удостоверение без удивления.

— Ждала, — сказала она.

— Можно войти?

— Да.

Квартира была обставлена хорошо — для советской квартиры очень хорошо. Мебель нормальная, ковёр на полу, на стене картина — не репродукция, настоящая, масло. Хрусталь в серванте. Женщина с деньгами — или с человеком, у которого были деньги.

Мы сели за стол на кухне. Она поставила чайник, не спрашивая.

— Вы по поводу Николая Ивановича, — сказала она.

— Да.

— Инфаркт — это неправда.

Она сказала это просто, без надрыва. Я смотрел на неё.

— Почему вы так думаете?

— Потому что я его знала пятнадцать лет. Он был крепкий. Гипертония у него была, да, но инфаркт — нет. Он умел беречься.

— Когда вы его видели последний раз?

— Позавчера вечером. — Она сжала руки на столе. — Он был взволнован. Сказал, что хочет поговорить с одним человеком. Я спросила с кем — не ответил. Сказал только: «Если что-то случится — ты ничего не знаешь». Я не поняла тогда. А потом...

Она замолчала. Чайник засвистел. Она встала, сделала чай механически, поставила передо мной кружку.

— С кем он мог хотеть поговорить? — спросил я.

— Не знаю точно. Но в последние месяцы он много говорил про Громова. Всегда нехорошо.

— Громова Валентина Сергеевича?

— Да. — Она посмотрела на меня. — Вы его знаете?

— Слышал.

— Николай Иванович боялся его. Я редко видела, чтобы он боялся людей. А Громова — боялся.

Я пил чай и думал. Людмила Кравцова — умная женщина. Она пять лет была рядом с директором крупного завода, видела, как он работает, с кем общается. Она знала больше, чем говорила сейчас — не потому что скрывала, а потому что не знала, можно ли доверять.

— Людмила, — сказал я. — Вы понимаете, что официально это дело закрыто?

— Понимаю.

— И что если я буду его копать — это неофициально. У меня нет инструментов, которые есть при нормальном расследовании.

— Понимаю и это.

— Тогда скажите мне одну вещь. — Я смотрел на неё прямо. — Были ли у Савченко какие-то финансовые документы, которые он хранил не на заводе? Дома, у вас, где угодно?

Она молчала долго. Я не торопил.

— У меня, — сказала она наконец. — Конверт. Он дал мне два месяца назад. Сказал: спрячь, не открывай, если всё будет нормально — он заберёт сам.

— Он ещё не забрал.

— Нет.

— Вы можете мне его показать?

Она встала, ушла в комнату. Вернулась через минуту с обычным канцелярским конвертом — заклеенным, без надписи.

Положила передо мной на стол.

Я смотрел на конверт. Брать его — значит войти в это дело по-настоящему. Не наблюдать с безопасного расстояния, а взять в руки что-то, что Громов, возможно, уже ищет.

Взял.

— Я должен буду его открыть, — сказал я.

— Открывайте.

Внутри были три листа. Я читал медленно — цифры, счета, даты. Бухгалтерский документ, составленный человеком, который понимал в бухгалтерии. Три счёта — два в местном отделении сберкассы, один в московском. Движение средств за два года. Суммы немаленькие. Против некоторых записей стояли инициалы — «Г.В.С.».

Громов Валентин Сергеевич.

Я сложил листы, убрал обратно в конверт. Людмила смотрела на меня.

— Это важно? — спросила она.

— Очень, — сказал я.

— Что теперь?

— Пока ничего. — Я убрал конверт в карман кителя. — Вы сделали правильно, что рассказали. Но пока — живёте как жили. Никому не говорите, что разговаривали со мной.

— Хорошо. — Она помолчала. — Вы найдёте?

Я встал, застегнул китель.

— Постараюсь.

Это было честно. Я не знал, что я найду и получится ли это доказать так, чтобы сработало. Но документы у меня в кармане — это уже что-то твёрдое.

На улице было холоднее, чем утром. Я шёл и думал.

Картина складывалась. Савченко и Громов — схема. Приписки, деньги мимо кассы, счёт на чужое имя. Савченко захотел выйти или пойти жаловаться — и перестал быть нужен. Вопрос в исполнителе: Громов сам не стал бы мараться. Кто-то сделал за него. Кто знал, что конкретно подмешать — чтобы выглядело как сердечное.

Доктор. Семён Борисович. Который сказал «нет» слишком быстро.

Но это предположение, не факт. Нужен был кто-то, кто мог подтвердить — или опровергнуть.

Я думал об этом и одновременно думал о другом: о том, что я держу в кармане документы, которые Громов, вероятно, знает о существовании. И что я молодой лейтенант первого месяца службы, которого никто не воспринимает всерьёз. Это было неудобно — и одновременно очень удобно.

Громов меня не боится. Пока.

Это давало время.

В отдел я вернулся в половину второго. Горелов сидел за своим столом и что-то писал.

— Где был? — спросил он, не поднимая головы.

— Разговаривал с одним человеком.

— С каким?

Я сел напротив, положил конверт на его стол.

Он посмотрел на конверт. Потом на меня.

— Что это?

— Финансовые документы по заводу. Два счёта в местной сберкассе, один в московской. Движение средств за два года. Инициалы «Г.В.С.» напротив части записей.

Горелов не брал конверт. Смотрел на него, как смотрят на что-то, от чего лучше держаться подальше.

— Откуда?

— Савченко оставил человеку, которому доверял.

— Ты понимаешь, что это не доказательство само по себе?

— Понимаю. Но это нить. Если проверить счета официально — там будет всё.

— Официально — это значит запрос. Запрос — это бумага. Бумага уйдёт наверх.

— Знаю.

— И всё равно?

Я смотрел на него.

— Степан Иванович. Там человека убили. Может быть. Скорее всего. И если я это знаю и ничего не делаю — тогда зачем я вообще здесь?

Горелов молчал долго. Потом взял конверт, открыл, прочитал. Снова закрыл.

— Тихо, — сказал он. — Без бумаг. Сначала ищем Петровича.

— Кто такой Петрович?

— Бывший главный бухгалтер завода. Вышел на пенсию в конце прошлого года. — Горелов убрал конверт к себе в ящик. — Если эта схема работала — он знал. Такие вещи не скроешь от главного бухгалтера.

— Адрес?

— Найду. — Он помолчал. — Завтра съездим.

Я кивнул. Встал, пошёл к своему столу. Горелов остановил меня.

— Воронов.

— Да?

— Ты сегодня с утра ЖЭК, потом завод, потом этот разговор. Первый раз один работал.

— Да.

— Это хорошо, — сказал он. — Но больше так не делай.

Я посмотрел на него.

— Один без предупреждения — это плохо. Если что-то пойдёт не так — я не знаю, где тебя искать.

— Понял.

— Это не выговор, — добавил он. — Просто правило.

— Принял, — сказал я.

Горелов кивнул и вернулся к бумагам. Я сел за свой стол, открыл блокнот, начал записывать.

Через несколько минут в кабинет заглянула Маша.

— Горелов, тут из прокуратуры звонили. Савельева. Просит перезвонить.

Горелов поднял голову, взял трубку. Я слышал только его сторону разговора: «Да. Да, закрытое. Нет. Хорошо, завтра». Положил трубку.

— Прокуратура хочет официально закрыть дело Савченко.

— Завтра?

— Завтра Савельева придёт сюда. — Он посмотрел на меня. — Ты сам решай, говорить ей или нет.

— Посмотрю на человека, — сказал я.

Из отдела я вышел в начале седьмого. Темнело рано — в конце сентября так бывает, небо гасло уже в шесть. Я шёл по улице, поднял воротник. Думал о Людмиле Кравцовой — о том, что она пять лет любила человека, которого убили. Может быть. Скорее всего.

Думал о конверте в ящике Горелова. О Петровиче, которого мы найдём завтра. О Громове, который красивый и снисходительный, и у которого, по словам Митрича, пять лет назад исчез человек.

Думал о том, что я лейтенант первого месяца службы и что у меня нет ни криминалистической базы, ни экспертизы, ни нормального способа запросить данные по счетам. У меня есть ноги, голова и Горелов, который решил мне доверять — пока.

Этого должно хватить.

Или нет. Посмотрим.

В коридоре коммуналки горел свет. Из кухни шёл запах — что-то жаренное, с луком.

Нина Васильевна стояла у плиты. Обернулась.

— Пришёл.

— Пришёл.

— Картошка с грибами. Садись.

Я снял китель в своей комнате, умылся, вышел на кухню. Сел. Она поставила тарелку, хлеб, соль. Налила себе чаю.

— Устал?

— Нормально.

— Нормально — это устал, — сказала она, не в первый раз.

Я посмотрел на неё.

— Вы про завод «Красный металлург» что-нибудь знаете? Ваш муж там работал?

— В пятидесятых, — сказала она. — Недолго. Потом перешёл в другое место. — Помолчала. — А что?

— Так, работа.

— Понятно. — Она взяла чашку. — Хороший был завод при Сталине. Строгий, но справедливый — я имею в виду порядок. Сейчас говорят разное. Геннадий — вон, сосед наш — он там работает, слесарь. Говорит, воруют. Начальство.

— Кто именно говорит?

— Ну, Геннадий. — Она пожала плечами. — Он пьёт, правда. Но не выдумывает. Если говорит — значит, слышал.

— Геннадий сейчас дома?

Она посмотрела на меня с лёгким удивлением.

— Наверное. Он обычно после смены домой идёт. — Пауза. — Ты есть сначала.

Я ел. Картошка с грибами была хорошей — простая, домашняя, без лишнего. За окном было совсем темно, в стекле отражалась кухня: жёлтый свет лампы, клеёнка в цветочек, Нина Васильевна с чашкой.

— У вас батарея греет? — спросил я между делом.

— Пока да. К ноябрю обычно начинает хуже.

— Скажите, если что.

Она посмотрела на меня.

— Ты каждый раз спрашиваешь про что-нибудь, что починить.

— Ну, — сказал я.

— Это хорошо, — сказала она просто. — Просто странно немного. Обычно молодые не замечают таких вещей.

— Привычка, — сказал я.

— К чему?

— Замечать.

Она кивнула, как будто это что-то объясняло. Может, объясняло.

Я доел, помыл тарелку. Спросил, в какой комнате Геннадий, — она показала. Я постучал.

Геннадий оказался мужиком лет пятидесяти, крупным, с медленными движениями. Открыл дверь, посмотрел на форму.

— Чего?

— Поговорить, если не против.

— Я ничего не делал.

— Знаю. Я не по этому.

Он посторонился неохотно. Я вошёл. В комнате пахло табаком и чем-то кислым — не сильно, просто фоновое. На столе стояла початая бутылка «Жигулёвского».

— Вы на «Красном металлурге» работаете?

— Ну.

— Слесарь?

— Ну.

— Что за человек был Савченко?

Геннадий помолчал. Потом сел на стул, взял бутылку, посмотрел на меня.

— Пить будешь?

— Нет, спасибо.

— Я буду. — Он отпил. — Савченко нормальный был мужик. Инженер настоящий, дело знал. Только в последний год сам не свой ходил. Нервный.

— Из-за чего?

— Не знаю из-за чего. Слухи разные. — Геннадий поставил бутылку. — Говорили, что он с Громовым не поладил. Громов этот — он куратор от горкома. Ходит раз в месяц, смотрит. Все его боятся, он это знает и любит.

— Не поладил — это как?

— Ну... — Геннадий поскрёб затылок. — Слышал я разговор. Случайно, я в коридоре был, а они в кабинете. Дверь не до конца закрыта. Савченко говорил: «Я больше не могу». А Громов ему: «Ты уже можешь и не можешь». — Он помолчал. — Не знаю, что это значит. Но после этого Савченко совсем плохой стал.

— Когда это было?

— Месяца два назад, может.

— Геннадий, — сказал я. — Вы кому-нибудь ещё это рассказывали?

Он посмотрел на меня с пониманием.

— Нет.

— Правильно. И не рассказывайте.

Он кивнул. Взял бутылку снова.

— Савченко убили? — спросил он тихо.

Я смотрел на него.

— Пока неизвестно.

— Понятно, — сказал он. — «Пока неизвестно» — это значит убили.

Я не ответил.

— Спасибо, Геннадий.

— Не за что. — Он смотрел в стол. — Нормальный был мужик.

Я вернулся к себе в комнату, сел на кушетку. Достал тетрадь, открыл на новой странице. Написал сверху: *Директор*. Потом — по пунктам.

Стакан. Запах. Доктор сказал «нет» — слишком быстро.

Конверт. Три счёта. Г.В.С.

Людмила: «Он боялся Громова».

Геннадий: разговор в кабинете. «Я больше не могу» — «Ты уже можешь и не можешь».

Завтра: Петрович.

Закрыв тетрадь. Убрал под матрас.

За стеной было тихо. Где-то в конце коридора Геннадий, наверное, допивал своё «Жигулёвское» и думал о нормальном мужике, которого, скорее всего, убили. Нина Васильевна, наверное, читала перед сном — газету или книгу, без разницы.

Я лёг.

Думал о Громове. О человеке, который умеет делать так, что другие люди исчезают или умирают — и всё выглядит правильно. Это особый талант. Редкий. И очень опасный.

Думал о Зое. О том, что сейчас в моём времени пятница, наверное, уже суббота. Маша, скорее всего, у Зои. Они не знают, что я здесь, — они думают, что меня нет вообще.

Это была привычная мысль, она приходила каждый вечер. Я её не гнал и не держал — просто давал побыть и уходить.

Закрыв глаза.

Завтра Петрович. Завтра Савельева из прокуратуры.

Посмотрим, что за человек.

Глава 4

Субботник назначили на воскресенье.

Это меня немного удивило — суббота была бы логичнее, она так и называется, суббота. Но Горелов объяснил за утренним чаем в пятницу, что в этом месяце субботник перенесли на воскресенье, потому что в субботу у Нечаева какое-то совещание в управлении. Советская логика: совещание важнее, субботник подождёт до воскресенья.

— Форма обязательна? — спросил я.

— Рабочая одежда. Форму не надо.

— Хорошо.

— И не опаздывай. Нечаев это не любит.

Я не опоздал. Пришёл в горотдел в восемь, как и все. Нас было человек двенадцать — весь наличный состав плюс несколько человек из соседнего отдела, которых приписали для объёма. Нечаев стоял у ворот в синей рабочей куртке, с видом человека, которому это занятие не нравится, но который понимает его необходимость.

— По машинам, — сказал он. — Едем на Кирова, пятнадцать. Там забор красить. Два часа работы, потом свободны.

Забор на Кирова, пятнадцать оказался длинным — метров тридцать, деревянный, крашенный когда-то в зелёный, но давно облупившийся. Нам выдали кисти и вёдра с краской — той же зелёной. Я взял кисть, подошёл к своей секции, начал красить.

Работа была бессмысленной и успокаивающей одновременно. Мазок, ещё мазок. Краска ложилась на старое дерево ровно, пахла чем-то химическим и знакомым. Рядом Петрухин красил молча, с таким сосредоточенным видом, будто это было важнейшее задание в его жизни.

Я красил и смотрел по сторонам.

Осень в этом городе была такой же, как везде в средней полосе — серой, влажной, с запахом мокрых листьев и дыма. По улице Кирова изредка проезжали машины. Прохожие оглядывались на нас без особого интереса: люди красят забор, обычное дело.

Я не сразу заметил Зимина.

Он появился со стороны парка — в пальто, с папкой под мышкой, шёл по тротуару. Увидел нашу компанию, замедлил шаг. Потом подошёл к Нечаеву, поздоровался. Они поговорили о чём-то минуту-две — я был далеко, не слышал. Потом Нечаев ему что-то показал, Зимин кивнул и пошёл дальше.

Но перед этим — на долю секунды — посмотрел в мою сторону.

Не на меня конкретно. На нашу группу. Взгляд скользящий, ленивый, как у человека, который просто смотрит по сторонам. Но я видел, как он остановился на мне на долю секунды дольше, чем на остальных.

Может, показалось.

Я вернулся к забору.

— Кто это? — спросил я у Петрухина, кивнув в сторону удаляющегося Зимина.

— Зимин? — Петрухин пожал плечами. — Из горисполкома. Иногда заходит к Нечаеву. По делам, наверное.

— Часто заходит?

— Не знаю. Я его несколько раз видел.

Я кивнул. Продолжил красить. Думал о взгляде — долю секунды дольше, чем нужно.

Может, показалось. Но у меня было правило: если кажется — значит, не показалось. Двенадцать лет оперативной работы вырабатывают это как рефлекс.

В одиннадцать нас отпустили. Я пошёл домой пешком, переоделся, выпил чаю на кухне — Нина Васильевна была в комнате, за закрытой дверью — и к двенадцати был в горотделе.

Там уже ждал Горелов.

— Из прокуратуры придут в час, — сказал он. — Савельева.

— Знаю. Ты сказал в пятницу.

— Я говорю, чтобы ты был здесь.

— Я здесь.

Горелов посмотрел на меня — с тем выражением, которое я у него уже изучил: оценивающим, без лишнего.

— Конверт у меня в сейфе, — сказал он тихо. — Ей не говорим пока.

— Почему?

— Потому что не знаем, кто она и как работает. Сначала смотрим.

Это было разумно. Я кивнул.

— Хорошо.

Мы ждали. Горелов занялся бумагами. Я сидел за своим столом и перечитывал заметки в тетради — ту, которую держал в ящике стола, не под матрасом. В ней были рабочие записи, ничего опасного: даты, имена, детали по текущим делам.

Савельева пришла в пятнадцать минут второго — не в час, как договаривались. Это я отметил: либо занята, либо ценит своё время больше чужого. Оба варианта что-то говорили о человеке.

Она вошла без стука — открыла дверь, оглядела кабинет быстро. Лет тридцати — тридцати двух. Худоцавая, в тёмно-синем костюме, с папкой. Тёмные волосы убраны строго. Лицо — не красивое и не некрасивое, из тех лиц, которые запоминают не сразу, но потом не забывают. Умное лицо.

— Горелов? — спросила она.

— Я, — сказал Горелов, вставая. — Присаживайтесь.

Она села, положила папку на стол, открыла. Посмотрела на меня.

— Это кто?

— Воронов, — сказал Горелов. — Мой сотрудник.

— Воронов. — Она записала. — По делу Савченко?

— Он со мной работает.

Она снова посмотрела на меня — коротко, оценивающе. Я не отвёл взгляд.

— Хорошо, — сказала она. — Я Савельева Ирина Андреевна, следователь прокуратуры. Дело Савченко Николая Ивановича числится как несчастный случай — острая сердечная недостаточность. Мне нужно официально его закрыть. Есть возражения?

— Есть, — сказал я.

Горелов чуть покосился на меня. Я продолжил:

— У нас есть основания полагать, что это не сердечная недостаточность.

Савельева посмотрела на меня.

— Какие основания?

— При осмотре места смерти — кабинет директора — обнаружены детали, не соответствующие клинической картине инфаркта. стакан с водой стоял нетронутым. В кабинете присутствовал нехарактерный запах. Проводивший первичный осмотр врач Семён Борисович Ляхов вёл себя нетипично при опросе.

— Нетипично — это как?

— Ответил «нет» раньше, чем дослушал вопрос.

Она смотрела на меня без улыбки. Ни насмешки, ни пренебрежения — просто смотрела.

— Это всё?

— Нет. Есть финансовые документы, указывающие на совместную схему между Савченко и куратором завода от горкома. По имеющимся сведениям, Савченко намеревался из схемы выйти.

— По имеющимся сведениям — это чьи сведения?

— Свидетельские показания. Неофициальные пока.

Она закрыла папку. Посмотрела на Горелова.

— Горелов, вы подтверждаете?

— Подтверждаю, что мой сотрудник работает по этому направлению, — сказал Горелов ровно. — Официальных оснований пока нет. Неофициальных — достаточно, чтобы не торопиться с закрытием.

Савельева помолчала. Смотрела на папку перед собой. Я смотрел на неё и пытался понять, что происходит за этим спокойным лицом. Умная. Дисциплинированная. Привыкла работать по правилам — и не потому что боится, а потому что считает это правильным. Такие люди неудобны, но надёжны.

— Мне нужны официальные основания для того, чтобы держать дело открытым, — сказала она наконец. — Неофициальные в протокол не идут.

— Понимаю, — сказал я. — Дайте неделю.

— Неделю — это много.

— Пять дней.

Она смотрела на меня секунду.

— Три дня. До среды. Если в среду у вас нет ничего официального — я закрываю.

— Договорились.

Она встала, взяла папку. Уже у двери остановилась, обернулась.

— Воронов.

— Да?

— Вы давно в угро?

— Недавно, — сказал я.

— Это заметно, — сказала она.

Я не понял, что она имела в виду — хорошее или плохое. Кажется, она и не собиралась объяснять. Вышла.

Горелов смотрел на меня.

— Три дня, — сказал он.

— Я слышал.

— Что у нас есть на три дня?

— Петрович, — сказал я. — Ты говорил, что найдёшь адрес.

— Нашёл вчера вечером. — Он достал из ящика листок. — Деревня Малые Выселки, двадцать километров от города. Едем сегодня?

— Едем.

Деревня оказалась небольшой — дворов тридцать, не больше. Асфальт кончился за пять километров до неё, дальше грунтовка, «уазик» трясло. Горелов вёл молча, курил в окно.

Дом Петровича был крайним — старый, деревянный, с огородом. У ворот стояла бочка с водой, рядом — лопата. Мы вышли, Горелов постучал в калитку.

Ждали минуты три.

Петрович открыл сам — невысокий мужик лет шестидесяти пяти, в ватнике и резиновых сапогах. Лицо красноватое, обветренное. Смотрел на нас и на форму молча.

— Чего надо? — спросил он наконец.

— Поговорить, — сказал Горелов. — Петров Иван Николаевич?

— Ну.

— Горелов, угро. Это Воронов. Можно войти?

Петрович смотрел. Потом посторонился молча.

Дом был тёплым и тесным. Пахло деревом и печным дымом. В углу — иконы, под ними лампадка. Стол, лавка, кровать за занавеской. На столе — початая бутылка молока и кусок хлеба.

— Садитесь, — сказал он, не глядя на нас.

Мы сели. Он остался стоять у печки, скрестил руки.

— Савченко умер, — сказал я.

— Слышал.

— Мы считаем, что это не инфаркт.

Петрович смотрел на меня. Долго, без выражения. Потом сел на лавку, взял кружку, отпил.

— Я на пенсии, — сказал он.

— Знаю.

— Я давно там не работаю.

— Восемь месяцев, — сказал я. — Вышли на пенсию в январе этого года. После двадцати трёх лет главным бухгалтером.

Он смотрел в кружку.

— Вы знаете про три счёта, — сказал я.

Это был не вопрос. Он это понял.

— Откуда вы... — начал он.

— Иван Николаевич, — сказал я спокойно. — Человека убили. Не сами документы убили — человека. Живого. Если вы знаете что-то и молчите — вы, возможно, позволите убить следующего.

— Меня тоже убьют, — сказал Петрович тихо. — Если я скажу.

— Возможно. — Я смотрел на него прямо. — Но не сказать — это тоже выбор. Вы понимаете это?

Он молчал долго. Горелов не вмешивался — сидел и ждал. Я тоже ждал.

За окном был огород с остатками ботвы, серое небо, дальний лес. Тихо.

— Схема работала пять лет, — сказал наконец Петрович. — Я знал. Мне предложили — я отказался. Но я не стал сообщать.

— Почему?

— Потому что боялся. — Он произнёс это без стыда — просто констатировал. — Просто боялся. Я всю жизнь на этом заводе, всю жизнь в этом городе. Жена, дети. Я боялся.

— Понимаю.

— Нет, не понимаете, — сказал он, и впервые в его голосе появилось что-то живое. — Вы молодой, вы не понимаете. Это не так просто — пойти и сказать. Там люди серьёзные.

— Громов, — сказал я.

— Громов. — Он кивнул. — И не только. У него связи в Москве. Он осторожный — никогда сам не делает. Через людей, через бумаги.

— Через Колосова.

Петрович посмотрел на меня.

— Ты хорошо подготовился, лейтенант.

— Я слушаю внимательно.

Он помолчал. Потом встал, прошёлся по комнате — недолго, она была маленькая. Остановился у окна.

— Савченко хотел выйти, — сказал он. — Года полтора назад начал говорить об этом. Я ему говорил: не делай этого. Они не выпустят. Он не слушал.

— Он хотел написать жалобу?

— Да. В Москву, в министерство. У него были бумаги — он собирал, аккуратно. Я не знал, что он их уже отдал кому-то на хранение. Если бы знал — сказал бы ему, что это его не спасёт. — Петрович помолчал. — Ничего не спасло бы.

— Кто знал, что он собирает бумаги?

— Громов знал. Савченко, кажется, сам ему сказал — думал, что напугает. А тот не испугался.

Я смотрел на Петровича. Пожилой человек у окна, с остатками огорода за стеклом. Прожил честно большую часть жизни, закрыл глаза один раз — и теперь живёт с этим.

— Иван Николаевич, — сказал я. — Я прошу вас дать показания. Официальные, под протокол. Не сейчас — когда будем готовы. Вы скажете то, что знаете о схеме. Только о схеме — об убийстве вам говорить не нужно, вы его не видели.

— Они узнают.

— Возможно. — Я не стал обещать ему безопасность, которую не мог гарантировать. — Но к тому времени, когда они узнают, у нас будет достаточно, чтобы их арестовать. Громов за решёткой — это другая ситуация.

Петрович смотрел на меня долго.

— Ты уверен, что сможешь?

— Нет, — сказал я. — Но я буду стараться.

Это был честный ответ. Он, кажется, это понял — потому что что-то в его лице немного изменилось.

— Дай мне подумать, — сказал он.

— Хорошо. Думайте. — Я встал. — Но недолго. У нас три дня.

Обратно ехали молча. Горелов курил и смотрел на дорогу. Грунтовка кончилась, пошёл асфальт, «уазик» перестал трястись.

— Ты ему сказал правду? — спросил Горелов наконец.

— В каком смысле?

— Что не уверен, что сможешь.

— Да.

Горелов помолчал.

— Это необычно.

— Что необычно?

— Обычно в таких разговорах обещают. Чтобы человек согласился.

— Если пообещаешь и не исполнишь — он будет знать, что ты врал. — Я смотрел на дорогу. — А так он знает, что я честный. Это дороже.

Горелов ничего не ответил. Докурил, выбросил окурочек в окно.

— Дай мне конверт сегодня вечером, — сказал я.

— Зачем?

— Хочу перечитать. Там были инициалы — хочу сопоставить с тем, что сказал Петрович.

— Хорошо.

Больше не разговаривали до самого города.

В горотдел мы вернулись около пяти. Горелов отдал мне конверт, я сел за стол, разложил листы. Перечитывал медленно, делал пометки в блокноте.

Три счёта. Два местных, один московский. Суммы — от трёх до восьми тысяч рублей, регулярно, раз в квартал. Инициалы «Г.В.С.» напротив московского счёта. Буквы, написанные Савченко, — аккуратные, бухгалтерские.

Петрович сказал: схема работала пять лет. Первые записи в конверте — пятилетней давности. Совпадает.

Я отложил листы. Взял новый лист бумаги, начал писать — то, что у нас есть, и то, чего не хватает.

Есть: финансовые документы. Показания Людмилы — что он боялся Громова. Показания Геннадия — разговор в кабинете. Косвенные показания Петровича — схема существовала.

Не хватает: официальное вскрытие — тело уже в морге, можно запросить экспертизу, но нужно основание. Прямые показания по убийству — Колосов знает больше всех, но пока не говорит.

Для Савельевой к среде — нужно хотя бы одно официальное показание и запрос на экспертизу.

Три дня.

Я убрал бумаги, вернул конверт Горелову.

— Завтра идём к Колосову, — сказал я.

— Он не скажет.

— Посмотрим.

По дороге домой я зашёл в продуктовый — «стекляшку», как её называли местные. Взял хлеб, молоко, кусок сыра. Постоял в очереди семь минут — уже без раздражения, я замечал это всё чаще. Советская очередь перестала меня раздражать. Это было тревожным признаком адаптации.

На кассе стояла девушка лет двадцати пяти — кассирша, рыжеватая, с быстрыми руками. Пробила товар, назвала сумму.

— Сдачи нет, — сказала она привычно.

— У меня точно, — сказал я.

Она удивлённо посмотрела на меня — видимо, это было редкостью.

Вышел на улицу. Темнело. Нёс авоську — советская авоська, сетка, я её уже не замечал — и думал о Савельевой.

Умная, жёсткая, работает по правилам. Три дня дала не потому что добрая — потому что увидела, что есть основание. Маленькое, неофициальное, но есть. Такие люди не дают времени из жалости.

Это значило, что она нам — не враг. Пока.

Дома на кухне горел свет.

Нина Васильевна сидела за столом и читала. Овернула, когда я вошёл.

— Пришёл.

— Пришёл. — Я поставил авоську на стол, начал разбирать. — Что-нибудь надо починить?

Она посмотрела на меня с выражением, которое я у неё уже знал, — смесь удивления и чего-то похожего на тепло.

— Лампочка в коридоре опять, — сказала она. — Та, что ты менял месяц назад. Плохие лампочки стали делать.

— Есть запасная?

— В тумбочке в коридоре.

Я нашёл лампочку, встал на табурет, вкрутил. Свет в коридоре загорелся ровным жёлтым светом. Слез, убрал табурет на место.

Нина Васильевна уже ставила чайник.

— Садись.

Я сел. Она достала из буфета блюдо с печеньем — обычным советским, круглым, с дырочкой посередине.

— Как работа? — спросила она, не глядя.

— Три дня, — сказал я.

— Что три дня?

— Три дня на то, чтобы доказать одну вещь. Если не докажем — дело закроют.

Она поставила чашку передо мной, села напротив.

— Докажешь?

— Не знаю.

— Но будешь стараться.

— Да.

Она кивнула. Взяла печенье, откусила.

— Мой муж говорил: в этой работе главное — не результат. Результата можно не добиться. Главное — что ты всё сделал правильно.

— Это утешение для проигравших, — сказал я.

Она посмотрела на меня.

— Нет, — сказала она спокойно. — Это понимание того, что ты контролируешь, а что нет. Результат — не всегда твой. Твои действия — всегда твои.

Я подумал. Она была права — в каком-то смысле. В другом смысле я с этим не соглашался, но спорить не стал. Простопил чай и думал.

— Вы знаете про завод что-нибудь ещё? — спросил я наконец. — Не Геннадий — сами.

Она чуть подняла голову.

— Я не спрашивала тебя, откуда ты знаешь про Геннадия.

— Он рассказал мне.

— Я так и думала. — Она отставила чашку. — Что я знаю. Мой муж работал там в пятидесятых — я это говорила. Потом перешёл в другое место, потому что не нравилось, как там становилось. Говорил: заводу нужны инженеры, а туда идут люди с портфелями. — Пауза. — Это было в пятьдесят шестом. С тех пор, думаю, стало хуже.

— Про Громова что-нибудь слышали?

Она помолчала — чуть дольше, чем обычно.

— Слышала. Не много. Говорят, человек неприятный. Умный, но неприятный.

— Это всё?

— Этого мало?

— Нет, — сказал я. — Достаточно.

Мы помолчали. Чайник снова закипел — она встала, долила кипятку в чайник. Я смотрел на её руки — быстрые, привычные, знающие каждый предмет на этой кухне.

— Нина Васильевна, — сказал я.

— М?

— Спасибо за ужин. И вообще.

Она обернулась, посмотрела на меня с тем выражением, которое трудно было описать словами. Не сентиментальным — скорее, спокойным. Знающим.

— На здоровье, Алёша.

В комнате я лёг на кушетку, закинул руки за голову.

Три дня.

Колосов завтра. Петрович — позвонит или нет. Савельева в среду.

Думал о Громе — о том, как он выглядит в моём воображении. Я его ещё не видел — только слышал. Лощёный, осторожный, умный. Никогда ничего напрямую. Такие люди неуязвимы, пока вокруг них все боятся. Стоит одному перестать бояться — и цепочка рвётся.

Петрович, возможно, перестанет бояться. Колосов — не знаю.

Я думал об этом и не заметил, как заснул.

Снилась Маша — первый раз здесь приснилась. Она стояла на какой-то улице и смотрела на меня, и что-то говорила, но я не слышал через стекло, которое было между нами. Стучал в стекло — оно не разбивалось. Она говорила и говорила, и я не слышал ничего.

Проснулся в темноте, резко.

Лежал и смотрел в потолок — в трещину, которую уже знал наизусть.

Маша.

Думал о ней просто — без надрыва, без острой боли. Просто думал. Она была там, в другом времени, в другой жизни. Ей восемь лет, она у Зои, она в порядке. Она не знает, что я здесь. Она думает, что меня нет.

Это было правдой и неправдой одновременно.

Повернулся на бок. Закрыв глаза снова.

За стеной что-то тихо тикало — часы у Нины Васильевны, я уже знал этот звук. Ровный, методичный. Хорошие часы.

Заснул.

Утром был студент.

Горелов напомнил, когда я пришёл в горотдел: родители Бритвина — снова. В третий раз за две недели. Горелов их уже два раза отправлял ждать.

— Займись, — сказал он. — Всё равно их надо принять.

— Хорошо.

Бритвины — мать и отец — оказались обычными советскими людьми средних лет. Мать — в пальто, с платком, тихая. Отец — крупный, красный, из тех людей, которые говорят громко, потому что думают, что это придаёт словам вес.

— Мы уже второй раз приходим! — сказал он с порога.

— Третий, — поправил я. — Садитесь.

Они сели. Я взял блокнот.

— Когда последний раз видели сына?

— Двадцать девятого августа, — сказала мать. — Он ушёл в институт утром. И всё.

— Звонил?

— Нет. Мы ждали, ждали...

— В общежитии вы были?

— Были! — снова отец. — Говорят, вещи его там, а сам пропал. Как так можно?

— Вещи в общежитии — это хороший знак, — сказал я. — Значит, не уехал навсегда.

Скорее всего, временно.

— Какой временно! Уже три недели!

— Деньги у него были?

— Ну, небольшие. Стипендия.

— Со сберкнижки он снимал деньги недавно?

Мать переглянулась с отцом.

— Он говорил, что хочет снять... на что-то. Я не спрашивала.

— Сколько там было?

— Рублей сорок, наверное. Он копил с лета.

Я записал. Сорок рублей — для студента деньги. На билет до другого города хватит, и ещё останется.

— У него была девушка?

Мать покраснела. Отец нахмурился.

— Не было никакой девушки, — сказал он.

— Была, — тихо сказала мать.

Отец посмотрел на неё.

— Откуда ты...

— Он мне говорил. Из другого города. Мы с отцом были против, — она посмотрела на меня, — потому что не знаем её семью. Коля обиделся.

Картина складывалась.

— Из какого города девушка?

— Он не говорил. Я спрашивала — он только плечами.

— Как зовут?

— Не знаю.

Я закрыл блокнот.

— Хорошо. Я займусь этим.

— Вы найдёте его? — спросила мать.

— Постараюсь.

Они ушли. Горелов зашёл в кабинет, посмотрел на меня.

— Ну?

— Девушка из другого города. Сорок рублей со сберкнижки. Скорее всего, уехал к ней.

— Без предупреждения?

— Родители против были. Обиделся, уехал по-тихому. Классика.

— И что делать?

— Звонить в другие города. — Я подумал. — Для начала — поговорить с однокурсниками. Они точно знают, куда.

— Займёшься?

— Да. После Колосова.

— Который час?

Я посмотрел на часы — наручные, советские, тяжёлые. Привык уже к их весу.

— Половина одиннадцатого.

— В одиннадцать встречаемся у входа. Поедем к Колосову.

— Хорошо.

У меня оставалось полчаса. Я взял блокнот, вышел в коридор, спустился в столовую.

Столовая горотдела располагалась в полуподвале — несколько столов, стойка, запах борща и хлеба. В это время там было почти пусто: двое сотрудников из соседнего отдела ели в углу, кассирша читала за стойкой.

За буфетной стойкой стояла Галя.

Я видел её раньше — несколько раз заходил сюда за чаем. Лет тридцати, незамужняя — это я знал по памяти тела, она работала здесь три года и, по общему мнению, была человеком несложным и незлым. Тёмно-русые волосы под сеткой, быстрые руки, улыбка, которая появлялась легко и без повода.

— Чай? — спросила она.

— Чай. И булочку, если есть.

— Есть.

Я взял поднос, сел у стойки. Галя налила чай, положила рядом булочку. Поставила передо мной не отходя.

— Вы новенький? — спросила она.

— Второй месяц.

— А, да, я видела. — Она облокотилась на стойку. — Из Москвы?

— Почему из Москвы?

— Не знаю. Вид такой. — Она улыбнулась. — Смотрите на всё немного сверху.

Это было неожиданно точно.

— Не из Москвы, — сказал я.

— Ну и ладно. — Она убрала поднос. — Вам сладкое кладут?

— Два куска.

Она положила два куска, я поблагодарил. Пил чай и думал о Колосове.

Галя возилась за стойкой — мыла что-то, переставляла. Не докучала, не молчала демонстративно. Просто работала рядом. Это было приятно — просто человек рядом, без требований.

Когда я уходил, она сказала вслед:

— Заходите.

— Зайду, — сказал я.

Это была правда.

Колосов жил в хрущёвке на улице Строителей — я узнал адрес через Митрича. Вышли с Гореловым в одиннадцать, как договаривались.

— Он дома? — спросил Горелов.

— Должен быть. У него выходной по графику.

Позвонили. Долгая пауза. Потом звук шагов — тихих, осторожных. Дверь открылась на цепочке.

В щели — мужчина лет пятидесяти. Небольшой, сутулый, с серым лицом и глазами, в которых читалась одна мысль: «Я знал, что придут».

— Колосов Михаил Петрович? — спросил Горелов.

— Ну.

— Горелов, угро. Можно войти?

Долгая пауза. Цепочка не снималась.

— По какому поводу?

— Поговорить.

Молчание.

— Михаил Петрович, — сказал я. — Вы работаете водителем у куратора завода Громова. Мы это знаем. Мы знаем и другое. Откройте дверь.

Цепочка снялась.

Квартира была маленькой и чистой — слишком чистой для одинокого мужчины, значит, следил намеренно. В углу телевизор, на стене фотографии — женщина, дети. Жена и дети, подумал я. Они в другом месте или...

— Семья у вас где? — спросил я.

Колосов посмотрел на меня.

— У тёщи. В Кирове.

— Давно?

— Месяц назад уехала.

Он их отправил, понял я. Почувствовал, что будет, и отправил семью.

Мы сели. Колосов смотрел в стол. Руки держал на коленях — спокойно, но я видел, что спокойствие это стоило ему усилий.

— Михаил Петрович, — сказал я. — Вы слышали телефонный разговор Громова. Примерно месяц назад.

Он не ответил.

— Разговор о лекарстве, — продолжил я. — О том, что нужно добавить в воду.

Молчание.

— Вы не убивали, — сказал я. — Вы только слышали. Это разные вещи.

— Если бы я не слышал — и не говорил бы, — сказал он тихо.

— Но вы слышали. И вы знаете, что Савченко умер не от инфаркта.

Колосов поднял голову — первый раз посмотрел на меня по-настоящему.

— Вы молодой совсем, — сказал он. — Вам не страшно?

— Страшно, — сказал я. — Но работа есть работа.

Это было правдой. Мне было страшно — не за себя, скорее за него. Он понимал, что стоит между Громовым и тем, что Громов хочет скрыть. Это опасное место.

— Чего вы хотите? — спросил он.

— Показания. Под протокол.

— Они меня убьют.

— Громов за решёткой убивать не сможет.

— А до этого?

Я смотрел на него. Не мог пообещать ему безопасность — не знал, смогу ли её обеспечить. Но молчать тоже было нельзя.

— Как зовут ваших детей? — спросил я.

Он смотрел на меня.

— Пётр и Анна. Петя восемь лет, Аня шесть.

— Что вы им скажете, когда вырастут? Что вы слышали, как заказывали убийство — и промолчали?

Долгое молчание.

Горелов сидел тихо. Он умел молчать в нужный момент — это я уже знал.

— Я подумая, — сказал Колосов наконец.

— У вас меньше трёх дней, — сказал я.

— Почему три дня?

— Потому что в среду дело могут закрыть. Официально, навсегда.

Он смотрел в стол.

— Я подумая, — повторил он.

Мы встали, пошли к двери. На пороге Колосов сказал — тихо, нам в спины:

— Они ещё в квартале от завода живут. Петя и Аня. С тёщей.

Я обернулся.

— Я знаю, — сказал он. — Они знают, куда я их отправил.

Это был ответ на вопрос, который я не задавал. Он говорил: Громов уже знает, где его семья. Отправка в Киров ничего не изменила.

Я смотрел на него секунду.

— Михаил Петрович, — сказал я. — Позвоните нам сегодня вечером. Вот номер. — Я написал на клочке бумаги. — Мы сможем что-нибудь сделать с этим. Не обещаю что. Но сможем.

Он взял бумажку. Смотрел на неё.

— Хорошо, — сказал он.

На улице Горелов закурил. Долго молчал.

— Ты знал про семью? — спросил он наконец.

— Нет. Догадался по лицу, когда он сказал.

— И что теперь?

— Теперь ждём звонка.

— А если не позвонит?

— Позвонит, — сказал я. — Он уже решил. Просто ещё не знает об этом.

Горелов посмотрел на меня — с тем выражением, которое я у него уже видел. Что-то среднее между недоумением и уважением.

— Откуда ты знаешь?

— Он сам сказал про детей, — сказал я. — Я не спрашивал. Когда человек сам говорит про детей — он уже принял решение.

Горелов докурил. Мы пошли к машине.

— У тебя есть дети? — спросил он.

Я помолчал секунду.

— Дочь, — сказал я. — Маша. Восемь лет.

— Где она?

— Далеко.

Горелов кивнул — не уточнил. Понял, что уточнять не надо.

Мы сели в машину, поехали. Я смотрел на город за окном — на серые улицы, на тополя, на людей с авоськами. Думал о Маше. О том, что она сейчас делает. Наверное, в школе. Первый класс, сентябрь.

Она не знала, что я думаю о ней.

Это было нормально. Дети не должны этого знать — они должны просто жить.

Я отвернулся от окна.

— Завтра в политех, — сказал я. — К однокурсникам Бритвина.

— Хорошо, — сказал Горелов.

Мы ехали молча. Город медленно проплывал за стёклами.

Колосов позвонил в половину девятого вечера.

Я был дома — сидел на кухне с Ниной Васильевной, она читала вслух какой-то журнал, я слушал краем уха. Когда в коридоре зазвонил телефон — общий, коммунальный, на стене — я почти сразу понял, что это он.

Нина Васильевна пошла к телефону. Вернулась.

— Тебя. Мужчина.

Я вышел в коридор, взял трубку.

— Воронов.

— Это Колосов, — сказал тихий голос. — Я согласен. Завтра утром. Только не в отделе.

— Где?

— Парк на Кирова. Скамейка у фонтана, девять утра.

— Хорошо. Я буду.

— Один, — сказал он. — Без Горелова.

Я подумал секунду.

— Хорошо.

Положил трубку. Вернулся на кухню.

— Всё нормально? — спросила Нина Васильевна.

— Нормально.

— Лицо у тебя довольное.

— Есть немного.

Она вернулась к журналу.

Я сел, взял чашку. Чай уже остыл, но я пил.

Три дня. Осталось два. Завтра Колосов. Послезавтра Савельева.

Будет что ей показать.

Глава 5

Колосов пришёл раньше меня.

Я увидел его издали — он сидел на скамейке у фонтана, фонтан уже не работал, на зиму выключили, но скамейка осталась. Небольшой, сутулый, в тёмном пальто. Сидел и смотрел на пустую чашу фонтана, как смотрят на что-то, в чём нет смысла, но смотреть всё равно надо.

Парк был почти пустым — утро понедельника, рабочий день. Пенсионер с собакой далеко, пара человек на дорожке. Никого рядом.

Я сел рядом, не здороваясь. Достал блокнот.

— Рассказывайте, — сказал я.

Он не смотрел на меня. Смотрел на фонтан.

— Я слышал разговор случайно, — сказал он. — Громов говорил по телефону у себя в кабинете. Я ждал у двери — он должен был ехать, я его водитель. Дверь была не закрыта. Я не специально.

— Что именно вы слышали?

— Он говорил — нужно добавить в воду. Порошок. Небольшое количество. Он назвал количество. — Колосов помолчал. — Потом сказал: «Сердце остановится, выглядит естественно». Потом назвал имя. Николай Иванович.

— Когда это было?

— Двенадцатого сентября. Это я помню точно — у жены был день рождения, я торопился домой.

Двенадцатое. Савченко умер четырнадцатого. Два дня.

— С кем он разговаривал по телефону?

— Не знаю. Я слышал только его сторону.

— Кто мог знать, что Савченко будет пить воду из этого стакана?

— Галина Тимофеевна — уборщица. Она всегда оставляла стакан с водой на его столе. Каждое утро. Все это знали.

— Значит, кто-то добавил порошок в стакан утром четырнадцатого.

— Или в ночь с тринадцатого на четырнадцатое. Уборщица приходила в половину восьмого, но охранник мог войти раньше.

Я записывал. Рука двигалась быстро — советский блокнот, советская шариковая ручка, немного царапает бумагу.

— Михаил Петрович, — сказал я. — Вы готовы повторить это под протокол? Официально, со своей подписью?

Он наконец посмотрел на меня. Лицо серое, спокойное — с той особенной спокойностью, которая бывает у людей, принявших решение и уже не сомневающих.

— Готов, — сказал он.

— Когда?

— Сегодня. Пока я не передумал.

Это было честно. Я убрал блокнот.

— Хорошо. В три часа в горотделе. Спросите Горелова — он будет ждать.

— Один?

— Один. Горелов и я.

Он кивнул. Встал, застегнул пальто. Посмотрел на фонтан ещё раз.

— Вы знаете, что мне за это будет? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я. — Громов за решёткой — это одна ситуация. Громов на свободе — другая.

— Значит, лучше чтобы за решёткой.

— Да.

— Тогда делайте быстро.

Он ушёл по дорожке. Я смотрел ему вслед — маленький, сутулый, в тёмном пальто. Человек, который слышал чужой разговор и два года жил с этим. Я думал о том, каково это — нести такое знание. Не выбирал нести, просто случилось. И теперь выбирает — говорить или нет.

Выбрал говорить. Это требует определённого мужества, даже если выглядит иначе.

Я встал, пошёл к выходу из парка.

В горотдел я не поехал. Позвонил Горелову из телефона-автомата на углу — советский телефон, двушка, гудки.

— Горелов.

— Это я. Колосов даст показания сегодня в три. Будь в отделе.

— Что он сказал?

— Всё. Потом расскажу.

— Хорошо. Ты где сейчас?

— Еду к Петровичу.

Пауза.

— Один?

— Один.

— Предупреждай, — сказал Горелов.

— Предупредил.

Я повесил трубку. Вышел на проспект, поймал автобус — советский, с гармошкой, набитый людьми. Проехал три остановки, вышел у автостанции. Там был «ПАЗик» до Малых Выселок — через двадцать минут.

Ждал на лавочке, смотрел на людей. Женщина с двумя сумками. Мужик в телогрейке, пахнувший соляркой. Старуха с курами в деревянном ящике — живыми, они тихо копошились. Обычное советское утро на автостанции.

Думал о Колосове. О том, что он сказал «пока я не передумал» — это честная формулировка. Люди передумывают. Особенно когда страшно. Поэтому я и назначил на сегодня, а не на завтра.

Три дня Савельевой — сегодня последний.

«ПАЗик» трясло на грунтовке так, что зубы лязгали. Я держался за поручень и думал. Рядом сидела старуха — не та, с курами, другая — и молчала всю дорогу. Это было хорошее молчание, ненапряжённое.

За окном проплывали поля, уже убранные, серые, с остатками ботвы. Берёзовые рощи, облетевшие почти полностью. Небо низкое, осеннее.

Я думал о том, что эти поля — они и в моём времени такие же. Осень везде одинаковая. Это была странно успокаивающая мысль.

В Малых Выселках вышел один. Автобус уехал, поднимая пыль. Деревня была тихой — утро, все на огородах или по делам. Дом Петровича крайний, я помнил.

Постучал в калитку.

На этот раз открыл быстро — будто ждал.

— Ты один? — спросил он, выглядывая за калитку.

— Один.

— Заходи.

В доме было так же — тепло, тихо, запах дров. На столе стоял чайник и два стакана. Он ждал.

— Чай? — спросил Петрович.

— Давайте.

Мы сели. Он налил — крепкий, тёмный, в гранёные стаканы с подстаканниками. Я обхватил стакан ладонями — горячий, хорошо.

— Колосов согласился, — сказал я.

Петрович поднял голову.

— Когда?

— Сегодня в три даёт показания.

Он смотрел на меня. Что-то в его лице изменилось — напряжение, которое он держал, чуть отпустило.

— Значит, не один я, — сказал он.

— Не один.

Он взял стакан, отпил.

— Тогда и я скажу всё, — сказал он. — Раз Колосов говорит — значит, уже не скрыть. Мне нет смысла молчать.

— Это правильная логика, — сказал я.

Он посмотрел на меня с чем-то похожим на усмешку.

— Ты доволен.

— Да.

— Молодой ещё — довольным быть. — Но это было без осуждения. — Ладно. Слушай.

Он говорил долго. Час, наверное. Я слушал и записывал — всё, что он называл: имена, даты, суммы. Схема работала с семьдесят четвёртого года. Три счёта, как в конверте. Приписки в плановых показателях — это была его работа, он делал это под давлением. Первый год пытался сопротивляться, потом перестал.

— Почему перестали? — спросил я.

— Потому что Громов мне объяснил, что будет, если не перестану, — сказал Петрович ровно. — У меня была жена. Дочь. Я перестал.

Я не осуждал его. Легко говорить про принципы, когда за тебя никто не отвечает. У него была семья.

— Кто ещё знал о схеме?

— Директор — с самого начала. Потом захотел выйти. — Петрович помолчал. — Я ему говорил: не выходи. Он не слушал.

— Савченко вам что-нибудь говорил в последние месяцы?

— Говорил: собирает документы. Я его предупреждал. — Он поставил стакан. — Не помогло.

— Иван Николаевич, — сказал я. — Сегодня вечером или завтра утром я приеду с Гореловым. Возьмём официальные показания — под протокол, с подписью.

— Хорошо, — сказал он.

— Вы не передумаете?

Он посмотрел на меня.

— Мне семьдесят лет почти. Жена умерла три года назад. Дочь в Саратове, внуки. — Он помолчал. — Боятся нечего уже особо. Зря я раньше не говорил.

Это было сказано просто, без пафоса. Просто человек, который дожил до понимания, что бояться уже незачем.

Я убрал блокнот.

— Спасибо, Иван Николаевич.

— Не за что. Ты чай допьёшь?

— Допью.

Мы ещё немного посидели молча. За окном был огород с остатками ботвы, серое небо, тихо. Хорошее молчание — я уже умел различать виды молчания, это тоже, наверное, была адаптация.

Автобус обратно шёл в двенадцать. Я успел — вышел на дорогу, «ПАЗик» подобрал, снова трясло на грунтовке. Старуха с курами теперь ехала в другую сторону.

В горотдел я приехал в начале второго.

Горелов был на месте. Посмотрел на меня, когда я вошёл.

— Ну?

— Петрович говорит всё. Схема с семьдесят четвёртого, три счёта, приписки. Завтра утром официально.

— А Колосов?

— В три.

Горелов кивнул. Взял папиросу, помял в пальцах, не закуривая.

— Это хорошо, — сказал он наконец.

— Да.

— У нас ещё время до Савельевой. Она сказала до конца рабочего дня.

— Значит, до шести.

— Значит, до шести.

Мы помолчали. Горелов наконец закурил. Я сел за свой стол, открыл блокнот — перечитывал записи, упорядочивал.

В половину второго я вспомнил про политех.

— Мне ещё к студенту, — сказал я.

— К Бритвину? Дело же закрыто почти.

— Не оформлено. И хочу поговорить с однокурсниками — они знают, куда он уехал. Тогда звонить будет куда.

— Иди, — сказал Горелов. — К трём вернёшься?

— Вернусь.

Политехнический институт стоял на улице Ленина — длинное здание, серое, с большими окнами. В вестибюле пахло мелом и старой бумагой. Студенты шли по коридорам — молодые, с портфелями, некоторые с папками чертежей.

Я нашёл деканат третьего курса. Секретарь — немолодая женщина с очками на цепочке — посмотрела на удостоверение, дала список группы Бритвина и сказала, что сейчас у них лекция, до трёх.

— Есть кто из друзей Бритвина, кого можно вызвать?

— Это надолго?

— Минут пятнадцать.

Она вздохнула, пошла куда-то. Вернулась с парнем лет двадцати — невысоким, светло-волосым, с таким лицом, на котором написано «я ни при чём».

— Сомов? — спросил я, сверившись со списком.

— Да, — сказал парень.

— Воронов, угро. Пять минут. По поводу Бритвина.

Мы вышли в коридор, встали у окна.

— Вы знаете, где он? — спросил я.

Сомов помолчал секунду. Потом:

— Знаю.

— Где?

— В Горьком. У Светки.

— Светка — это как зовут?

— Светлана Орлова. Они познакомились летом на картошке — нас туда посылали, и горьковский институт тоже. Коля в неё влюбился.

— Родители против были.

— Ну да. Они познакомились — не понравилась им. Говорили: не та. — Сомов пожал плечами. — А Коля... он упрямый. Взял деньги и уехал.

— Адрес есть?

— Улица Горького, двадцать три, это общежитие её института. Светка там живёт. Я записал.

— Он звонил вам?

— Один раз. Сказал: всё нормально, не ищите. — Сомов посмотрел на меня. — Он что-то сделал плохое?

— Нет, — сказал я. — Его родители беспокоятся. Это всё.

— А-а. — Сомов расслабился. — Тогда понятно.

Я убрал блокнот. Сомов уже поворачивался обратно к аудитории.

— Сомов, — сказал я.

— Что?

— У вас там есть доцент Фельдман.

Сомов остановился. Чуть напрягся — еле заметно, но я видел.

— Ну, есть. Он физику ведёт у нас.

— Хороший преподаватель?

— Нормальный. — Пауза. — Требовательный.

— Он знал, что Бритвин уехал?

Сомов смотрел на меня. Молчал.

— Знал, — сказал он наконец. — Коля ему сказал. Они общались.

— Общались — это как?

— Ну... Фельдман вёл у нас кружок. Неофициальный. По философии, по литературе. Коля туда ходил.

— Интересно, — сказал я.

— Ничего такого, — быстро сказал Сомов. — Просто разговоры.

— Я не сказал «такого», — ответил я спокойно.

Сомов смотрел на меня — молодое, растерянное лицо. Что-то прятал, это было очевидно. Но давить не стал — не время, не место, и не это дело сейчас главное.

— Спасибо, — сказал я. — Идите.

Он пошёл. Я смотрел ему вслед и думал о Фельдмане — о доценте с двойным дном. Неофициальный кружок по философии и литературе в советском институте в семьдесят девятом году — это могло быть чем угодно. Безобидным или нет.

Запомнил. Не сейчас.

В горотдел я вернулся в пять минут третьего. Позвонил в Горький — через коммутатор, ждал двенадцать минут, пока соединят. Потом ещё пять минут, пока нашли дежурного по общежитию, ещё семь, пока дежурный сходил, нашёл нужную комнату.

Коля взял трубку сам.

— Бритвин, — сказал он.

— Угро, Краснозаводск. Воронов.

Пауза.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Ваши родители подали заявление о пропаже. Я должен убедиться, что вы живы и по собственной воле отсутствуете.

— Живой. По собственной.

— Хорошо. Позвоните родителям.

— Они... — он замолчал.

— Бритвин. Позвоните родителям. Они не понимают вашего выбора — это их право. Но знать, что вы живы — это тоже их право. Вы взрослый человек, вы можете жить где хотите. Но позвоните.

Долгая пауза.

— Хорошо, — сказал он наконец.

— Всё.

Я повесил трубку. Дело Бритвина закрыто — технически. Оформлю бумаги завтра.

Горелов стоял в дверях, смотрел.

— Нашёл?

— Горький, живой, по собственной воле. Завтра оформим.

— Хорошо. — Он кивнул в сторону коридора. — Колосов пришёл. Ждёт.

Колосов сидел в кабинете для допросов — маленькая комната, стол, три стула, зарешённое окно под потолком. Держался прямо, руки на столе. Видно было, что готовился — не к показаниям, к тому, чтобы не сломаться раньше времени.

Я сел напротив. Горелов — сбоку, с блокнотом.

— Михаил Петрович, — сказал я. — Мы запишем ваши показания. Потом вы их прочитаете и подпишете. Это официальный документ. Вы понимаете?

— Понимаю.

— Тогда начнём. Расскажите то, что рассказали мне в парке. По порядку, с датами.

Он рассказал. Говорил ровно, методично — видно, что в голове проговаривал заранее. Двенадцатое сентября. Кабинет Громова. Телефонный разговор. Порошок. Сердце остановится. Николай Иванович.

Горелов писал. Я слушал и иногда уточнял.

— Вы могли слышать неправильно? — спросил я.

— Нет. Я стоял у двери полминуты. Слышал чётко.

— Дверь была открыта?

— Не до конца. Сантиметров двадцать.

— Голос Громова вы узнаете уверенно?

— Я пять лет его вожу. Узнаю.

Когда он закончил, Горелов перечитал вслух. Колосов слушал, поправил одну дату, одно слово. Потом взял ручку и подписал. Рука у него не дрожала.

— Всё? — спросил он.

— Всё, — сказал я. — Спасибо.

Он встал. У двери остановился.

— Вы сказали — Громов за решёткой, тогда другая ситуация, — сказал он.

— Да.

— Сделайте это быстро.

— Постараемся.

Он ушёл. Горелов посмотрел на меня.

— Сколько у нас времени до Савельевой?

— Два часа. Может, три.

— Она сказала до конца рабочего дня.

— Значит, до шести. Надо успеть.

— Ты сейчас — к ней?

— Сейчас — за Рыжим. Потом к ней.

Рыжий жил в Заречном — Митрич дал адрес ещё вчера, я не успел добраться. Двор, деревянный дом, третья квартира. Я постучал в два часа дня.

Открыл мужик лет тридцати — рыжий, отсюда, видимо, прозвище. Лицо смышлёное, настороженное. Посмотрел на форму — не испугался, но напрягся.

— Чего?

— Воронов, угро. Поговорить.

— О чём?

— О Зое из ЖЭКа.

Он помолчал секунду. Потом открыл дверь.

— Заходи.

Разговор был короткий. Рыжий не дурак — понял быстро, что Зоя уже взята и что записывать бессмысленно. Назвал реализатора в Свердловске — фамилию, приблизительный адрес. Сказал, что сам только принимал и перевозил, не выбирал квартиры.

— Это Зоя выбирала?

— Она говорила — куда идти. Я шёл.

— Часто?

— Раз в месяц, может.

— С сентября семьдесят восьмого?

— С октября примерно.

Почти год. Одиннадцать краж, если раз в месяц. Мы знали о трёх.

— Ещё кражи были?

— Ну... восемь, наверное. Может, девять. Я не считал.

— Адреса помнишь?

— Некоторые. Записать?

— Записывай.

Он записал — пять адресов, остальные забыл. Я взял листок. Передам Горелову — пусть оформляет, опрашивает пострадавших. Наша «Барахолка» оказалась больше, чем три заявления.

— Тебя задержать придётся, — сказал я.

— Знаю, — сказал он без особой радости, но и без паники. — Надолго?

— Не знаю.

Я позвонил из ближайшего автомата Горелову, сообщил. Горелов приехал через двадцать минут, забрал Рыжего. По дороге к машине Рыжий сказал мне:

— А Зоя что?

— Задержана.

— Она хорошая баба, — сказал он. — Просто бывший её прижал.

— Знаю.

— Ей много дадут?

— Не знаю. Это суд решает.

Он кивнул. Сел в машину. Горелов увёз.

Я остался на тротуаре. Посмотрел на часы. Четыре сорок.

Время есть.

К Савельевой я пришёл без предупреждения — в прокуратуру, спросил на входе. Секретарь позвонила, сказала: войдите.

Кабинет у неё был небольшой — стол, стеллаж с папками, одно окно, вид на двор. Она сидела и читала что-то, когда я вошёл. Подняла голову.

— Воронов.

— Я.

— Три дня прошло.

— Вот, — сказал я и положил на её стол два листа.

Она взяла. Читала молча — внимательно, не торопясь. Первый лист — показания Колозова. Второй — краткое изложение показаний Петровича, официальный протокол завтра, но суть уже здесь.

Читала долго. Я стоял.

— Садитесь, — сказала она, не поднимая головы.

Я сел.

Она дочитала. Положила листы ровно, один на другой. Посмотрела на меня.

— Это Колосов подписал?

— Да.

— Сегодня?

— Три часа назад.

— Петрович — завтра?

— Утром.

Она помолчала. Я не торопил.

— Кто вёл работу по этому направлению? — спросила она.

— Я.

— Горелов знал?

— Да.

— Нечаев?

— В общих чертах.

Она смотрела на меня — с тем выражением, которое я у неё уже видел однажды. Без улыбки, без одобрения — просто смотрела.

— Вы месяц в угро, — сказала она.

— Да.

— Это заметно, — сказала она.

— Вы это уже говорили.

— Тогда имела в виду другое.

Я не спросил, что имеет в виду сейчас. Ждал.

Она взяла ручку, написала что-то на верхнем листе. Подписала.

— Я открываю дело официально, — сказала она. — На основании показаний Колосова и предварительных показаний Петровича. Следствие начинается сегодня. — Она убрала листы в папку. — Громов будет уведомлён.

— Это его предупредит.

— Это процедура, — сказала она. — Я не могу её нарушить.

— Понимаю.

Она встала — разговор закончен. Я тоже встал.

— Воронов, — сказала она.

— Да?

— Хорошая работа.

Это было сказано коротко, без лишнего. Не похвала — констатация. Такая, какую она, похоже, давала редко.

— Спасибо, — сказал я.

Вышел в коридор. Постоял секунду. Следствие открыто — это означало, что Громов теперь под прицелом официально. И что он об этом узнает. И что будет делать что-то.

Три дня кончились. Начиналось другое.

На улице было уже темно. Половина шестого, конец сентября — темнеет рано. Я шёл по проспекту и думал о велосипеде.

Горелов упоминал с утра. Кража велосипеда у пионера — дело, которое он хотел закрыть для репутации отдела. Я обещал разобраться попутно.

Попутно не получилось. Весь день — Колосов, Петрович, Бритвин, Рыжий, Савельева. Велосипед подождёт до завтра.

Я зашёл в телефонную будку, позвонил Горелову.

— Всё в порядке, — сказал я. — Савельева открыла дело официально.

— Хорошо, — сказал он. И ещё, после паузы: — Хорошо.

— Велосипед завтра.

— Знаю. Я уже съездил.

— Нашёл?

— Нашёл. Мальчишка из соседнего двора, семь лет, думал, что бесхозный. Вернули. Всё нормально.

Я улыбнулся — первый раз за день, наверное.

— Хорошо, — сказал я.

— Иди отдыхай, — сказал Горелов. — Завтра тяжёлый день.

Я повесил трубку. Вышел из будки.

Домой пришёл в начале седьмого. В коридоре темно — лампочку я недавно менял, но эта коридорная, не та. Нина Васильевна возилась на кухне, слышно было через дверь.

Я снял китель, повесил, зашёл в ванную, умылся. Долго смотрел в зеркало — на молодое незнакомое лицо. Почти привык уже. Почти.

Вышел в коридор, постучал в кухонную дверь.

— Нина Васильевна, у вас замок на входной двери нормально работает?

— Заедает немного.

— После ужина посмотрю.

— Алёша, — сказала она из-за двери. — Ты каждый раз спрашиваешь.

— Ну и что?

— Ничего. Садись есть.

Я зашёл. На столе стояли щи — настоящие, с кислой капустой, с мясом. Хлеб, соль. Она сидела напротив с чаем и читала — на этот раз не газету, книгу. Корешок потёртый, не разобрать название.

— Что читаете? — спросил я.

— Паустовский. — Она показала обложку. — «Золотая роза». Читал?

— Нет.

— Хорошая книга. Про то, как пишут. Про то, зачем.

Я ел щи и думал. День был длинный — Колосов в парке, «ПАЗик» на грунтовке, Петрович с чаем в гранёных стаканах, политех, Рыжий, Савельева. И всё это — один день.

— Тяжёлый? — спросила Нина Васильевна, не глядя на меня.

— Наоборот, — сказал я. — Хороший день.

Она подняла голову.

— Хороший — это когда доволен собой?

— Хороший — это когда сделал что надо.

Она смотрела на меня секунду. Потом кивнула и вернулась к книге.

Я доел щи. Встал, помыл тарелку. Взял инструменты из тумбочки в коридоре — там у предыдущего жильца лежали, я оставил — и разобрал замок входной двери. Смазал, подтянул, собрал обратно. Открылся и закрылся чисто, без заедания.

— Готово, — сказал я.

Нина Васильевна вышла из кухни, попробовала ключом. Открыла, закрыла.

— Хорошо, — сказала она.

— Если ещё что — говорите.

— Говорю всегда.

Я пошёл к себе. Лёг на кушетку, закинул руки за голову.

Следствие открыто. Громов узнает сегодня или завтра. Что он сделает — пока неизвестно. Но у нас теперь есть Колосов и Петрович — два свидетеля, два подписанных протокола. Это другая ситуация, чем была три дня назад.

Думал о Маше. О том, что сейчас там — в другом времени, в другой жизни — понедельник, вечер, она, наверное, делает уроки. Первый класс, прописи, буквы. Зоя сидит рядом, помогает.

Я лежал здесь и думал об этом — без острой боли, просто думал. Тупая фоновая нота, как кран, который иногда капает.

Закрыв глаза.

Завтра Петрович — официально. Завтра велосипед оформить, хотя Горелов, оказывается, уже сам. Завтра посмотреть, что будет делать Громов.

Завтра.

Утром на столовой я задержался.

Галя заметила, что я не тороплюсь — и сама не торопилась. Убирала за стойкой, когда народ разошёлся. Сомов где-то читал, что буфетчицы в советских учреждениях знали всё про всех — потому что люди едят и говорят, едят и слушают. Галя, кажется, слушала много, но не пересказывала. Это я ценил.

— Устал? — спросила она.

— Вчера был длинный день.

— Но хороший?

— Хороший.

Она улыбнулась — легко, без повода. Протянула через стойку ещё одну булочку.

— Бери.

— Спасибо.

Мы помолчали. Не неловко — просто тихо.

— Ты всегда такой серьёзный? — спросила она.

— Не всегда, — сказал я.

— Тогда когда не серьёзный?

Я подумал.

— Когда нечего расследовать, — сказал я.

Она засмеялась — негромко, искренне. Хороший смех — не для того, чтобы понравиться, просто смешно ей было.

— У вас что, всегда есть что расследовать?

— Почти всегда.

— Тогда я понимаю, почему серьёзный.

Столовая опустела совсем. Она выключила свет за стойкой, вышла — в зал, как будто просто пройти. Остановилась рядом.

— Ты надолго здесь? — спросила она.

— Пока не знаю.

— Понятно.

Мы смотрели друг на друга секунду. Потом она сказала:

— Мне ещё убраться надо. Уборная на той стороне. Если хочешь — подожди.

— Подожду, — сказал я.

Это было просто. Без лишних слов, без расчёта. Просто двое усталых людей в конце длинного дня, которым не хотелось идти домой прямо сейчас.

Я подождал.

Утром она ушла первой — тихо, не будя. Я слышал краем сна, как закрылась дверь. Лежал ещё несколько минут, смотрел в потолок её комнаты — незнакомый потолок, без трещины.

Встал, оделся, вышел.

На улице было холодно — октябрь уже совсем близко. Я шёл в горотдел и думал не о ней — она и не рассчитывала, что буду думать, это чувствовалось. Просто параллельные жизни, которые на час пересеклись.

Думал о Громе. О том, что он уже знает. О том, что будет делать.

Умные люди в опасной ситуации делают одно из двух: прячутся или атакуют. Громов был умным. Значит, одно из двух.

Надо быть готовым к обоим.

Глава 6

Утром я проснулся раньше будильника.

Лежал и смотрел в потолок — в трещину, которую уже знал как свою. За стеной тикали часы Нины Васильевны. В коридоре было тихо. Октябрь уже добрался до города по-настоящему — за окном серело медленно, неохотно, как будто свет не хотел возвращаться.

Думал о Громе.

Он знает. Ирина открыла дело вчера вечером — сегодня утром он уже знает. Такие люди узнают быстро, у них есть источники. Он умный и осторожный — значит, уже что-то делает. Не паникует — такие не паникуют. Думает.

Вопрос: что именно?

Встал, оделся. На кухне было пусто — Нина Васильевна ещё не вставала. Я поставил чайник, нарезал хлеб, достал масло. Позавтракал стоя, глядя в окно на серый двор.

В половину восьмого позвонил Горелов.

— Ты уже в отделе?

— Ещё нет. Еду.

— Нечаев хочет нас обоих. Сейчас.

— Что случилось?

— Звонили из горкома. Ночью ещё, часов в одиннадцать.

Я помолчал секунду.

— Уже еду.

Горелов ждал у входа — курил, смотрел на улицу. Увидел меня, кивнул. Мы вошли вместе, поднялись на второй этаж.

Нечаев сидел за столом — в форме, хотя обычно до девяти ходил в штатском. Это говорило кое-что о том, как прошла его ночь. Лицо ровное, но усталое.

— Садитесь, — сказал он.

Мы сели.

— Вчера вечером мне позвонил Борис Николаевич Фомин, — сказал Нечаев. — Это первый секретарь горкома. Лично. — Пауза. — Он сказал, что дело Савченко было закрыто как несчастный случай, что прокуратура действует с превышением полномочий и что горотдел не должен был инициировать расследование.

Горелов смотрел в стол. Я смотрел на Нечаева.

— Официально, — продолжил Нечаев, — дело Савченко с сегодняшнего дня закрыто. Я подписал соответствующую бумагу.

Молчание.

— Неофициально, — сказал он тем же тоном, — я ничего не знаю о том, что происходит в нерабочее время с документами, которые хранятся не в моём сейфе.

Я смотрел на него. Он смотрел куда-то в сторону окна.

— Понял, — сказал я.

— Горелов?

— Понял, — сказал Горелов.

— Хорошо. — Нечаев взял ручку, открыл папку. — Идите работайте.

Мы встали. У двери Нечаев сказал, не поднимая головы:

— Воронов.

— Да?

— Будьте аккуратны.

Это было всё. Но этого было достаточно.

В коридоре Горелов остановился, достал папиросу.

— Понял, что он сказал?

— Понял.

— Делаем без бумаг. Всё, что у нас есть — у Ирины. Туда они не сунутся — это прокуратура, другое ведомство. — Горелов прикурил. — Наша задача — дать ей достаточно, чтобы она могла работать дальше.

— У неё уже есть показания Колосова.

— Это хорошо. Нужно больше.

— Сегодня я еду к Громову, — сказал я.

Горелов посмотрел на меня.

— Зачем?

— Посмотреть на человека.

— Это опасно.

— Я знаю.

— Он поймёт, что ты копаешь.

— Он уже понял. Смысла прятаться больше нет.

Горелов курил и думал. Потом сказал:

— Хорошо. Я поеду к Петровичу — возьму показания официально для Ирины. Ты — на завод. В три встречаемся здесь.

— Договорились.

— И, — он посмотрел на меня, — если что-то пойдёт не так — звони.

— Из чего? — спросил я. — На заводе нет телефона-автомата.

— Найди.

Он ушёл. Я стоял в коридоре и думал о том, что сейчас пойду посмотреть на человека, который, скорее всего, убил. Просто посмотреть. Понять, как он работает. Что он будет делать дальше.

Это была разведка. Не более.

Завод «Красный металлург» выглядел так же, как три недели назад — длинные кирпичные корпуса, трубы, проходная с красной звездой. Вохровец посмотрел на удостоверение, позвонил куда-то. Подождал. Кивнул.

— Громов Валентин Сергеевич в плановом отделе. Второй этаж, кабинет восемь.

Я шёл по коридору завода — длинному, с трубами вдоль потолка, с запахом масла и металла. Рабочие расступались — форма делала своё дело. Поднялся на второй этаж, нашёл восьмой кабинет.

Постучал.

— Войдите.

Кабинет был просторным — для советского заводского кабинета очень просторным. Большой стол, два телефона, шкаф с папками. Портрет Брежнева, разумеется. На подоконнике — горшок с фикусом, ухоженным, листья блестят. Кто-то за ним ухаживает.

Громов стоял у окна — спиной ко мне, смотрел на заводской двор. Обернулся, когда я вошёл.

Лет пятидесяти пяти. Высокий, прямой, с хорошей стрижкой — не советской, а той, что делают в хороших парикмахерских. Костюм тёмно-серый, пиджак сидит точно. Лицо крупное, правильное, с тяжёлыми надбровными дугами. Глаза — внимательные, спокойные. Умные глаза.

Он смотрел на меня без удивления. Без настороженности. Просто смотрел.

— Воронов, — сказал он. Не вопрос — констатация. Знал уже.

— Да, — сказал я.

— Присаживайтесь.

Я сел. Он сел напротив — не за стол, а сбоку, в кресло для посетителей. Это было неожиданно — обычно люди в таких ситуациях прячутся за стол, используют его как щит. Он сел рядом. Открыто.

Умный.

— Вы пришли по поводу Николая Ивановича, — сказал он.

— Да.

— Официально дело закрыто. Я звонил сегодня утром в горотдел.

— Знаю.

— Тогда зачем вы здесь?

Я смотрел на него. Он смотрел на меня. Два человека, которые оба всё понимают и оба знают, что другой понимает.

— Хотел познакомиться, — сказал я.

Что-то чуть изменилось в его лице — не улыбка, но что-то похожее.

— Познакомиться, — повторил он. — Интересно.

— Вы знали Савченко давно?

— Восемь лет. С тех пор, как я курирую этот завод.

— Хороший был человек?

— Хороший инженер, — сказал Громов. — Производство знал. Люди его уважали.

— Но?

— Никакого но. Хороший инженер.

Я смотрел на его руки — спокойные, сложенные на колене. Не нервничает. Или умеет не показывать — это разные вещи.

— Валентин Сергеевич, — сказал я. — Вы понимаете, что у нас есть свидетели?

Это был прямой удар. Не разведка — атака. Я сам не планировал говорить это, но решил в последний момент: посмотреть на реакцию.

Реакции не было.

Громов смотрел на меня ровно. Секунда. Две.

— Лейтенант Воронов, — сказал он наконец. — Вы молодой человек. Первый месяц на работе, если я правильно понимаю.

— Второй.

— Второй. — Он чуть кивнул. — В вашем возрасте хочется делать что-то важное. Я понимаю это. Это хорошее желание.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Это совет, — сказал он спокойно. — Бесплатный. — Пауза. — Официально дело закрыто. Свидетели, о которых вы говорите, могут говорить что угодно. Слова — это слова. Документы — это документы. У меня всё в порядке с документами.

— Не у всех, — сказал я.

Он смотрел на меня.

— Конверт, — сказал я. — Три счёта. Один московский.

Первый раз — едва заметно — что-то изменилось в его взгляде. Не страх. Что-то другое. Оценка, пересмотренная в реальном времени.

— Вы интересный молодой человек, — сказал он.

— Спасибо.

— Это не комплимент, — сказал он ровно. — Это наблюдение. — Встал. — Думаю, наш разговор закончен. Если у вас официальные вопросы — через адвоката.

Я встал тоже.

— У меня есть ещё один вопрос, — сказал я.

— Слушаю.

— стакан с водой. Почему он стоял ровно?

Долгая пауза. Несколько секунд.

— Не понимаю, о чём вы, — сказал он.

— Понимаете, — сказал я.

Мы смотрели друг на друга. Потом я повернулся и пошёл к двери. У двери остановился.

— Валентин Сергеевич.

— Что?

— Не уезжайте из города.

Он не ответил. Я вышел.

В коридоре я остановился, прислонился спиной к стене. Стоял секунду — не потому что испугался, просто нужно было собраться.

Громов — это серьёзно. Не потому что злой или страшный. Потому что умный и спокойный, и у него нет слабых мест на поверхности. Такие люди опасны именно этим — не агрессивностью, а управляемостью. Он не сорвётся, не наделает ошибок от страха. Будет действовать методично.

Стакан с водой его задел. Это я видел — едва заметно, но видел. Он не ожидал этой детали. Значит, про неё не знает никто, кроме того, кто был в кабинете в момент смерти. Либо Колосов, либо кто-то ещё.

Я пошёл дальше по коридору. Нужен был архив.

Бухгалтерский архив завода располагался в полуподвале — туда я пришёл под предлогом проверки документооборота. Это было размытое основание, но достаточное — в советских учреждениях люди редко спрашивали «зачем», если видели форму.

Архивариус — пожилая женщина в очках — показала мне нужный стеллаж. Плановые показатели за последние пять лет. Я попросил её выйти на десять минут — она вышла без возражений.

Работал быстро.

Брал папку за папкой, листал. Смотрел на цифры — плановые и фактические показатели производства. В норме они должны совпадать или быть близко. Здесь — расходились. Регулярно, каждый квартал, на суммы от двух до шести процентов.

Два процента от объёма производства завода — это очень большие деньги.

Я делал пометки в блокноте — не копировал, просто фиксировал закономерность. Даты, кварталы, величина расхождений. Это была не юридически значимая улика — я не мог взять папки официально. Но это было подтверждение: схема существовала, она была системной, она длилась годами.

Для Ирины это будет важно.

Архивариус вернулась через пятнадцать минут. Я поблагодарил её, убрал блокнот, вышел.

На улице я постоял секунду, закурил — нет, не закурил, я же бросаю. Убрал папиросу обратно. Посмотрел на трубы завода.

Под этими трубами — схема, которая работала пять лет. Деньги, которые уходили наверх. Человек, который хотел из этого выйти, — и которого убили за это. Аккуратно, методично, без следов.

Громов сидит в своём просторном кабинете с фикусом и ждёт. Что именно — пока неясно. Но ждёт точно.

К трём я вернулся в горотдел. Горелов уже был там — сидел за столом, писал что-то.

— Петрович? — спросил я.

— Дал показания. Официально, под протокол. Я отвезу Ирине сегодня.

— Хорошо.

— Громов?

Я сел за свой стол. Рассказал — коротко, по существу. стакан с водой его задел. конверт он знал, что существует. Адвокат.

Горелов слушал. Когда я закончил, долго молчал.

— Ты сказал ему про конверт, — сказал он наконец. Не осуждение — констатация.

— Да.

— Зачем?

— Чтобы посмотреть на реакцию.

— И?

— Он знал о конверте. Не ожидал, что мы знаем.

— Это хорошо?

— Это информация. Он теперь знает, что мы знаем. И мы знаем, что он знает. — Я помолчал. — Это меняет его следующий шаг.

— Как меняет?

— Он больше не может ждать. Теперь ему нужно действовать.

Горелов смотрел на меня.

— Ты специально его спровоцировал?

— Да.

— Это опасно.

— Ждать тоже опасно. Если он будет ждать — найдёт способ закрыть дело снова. А если начнёт действовать — сделает ошибку.

Горелов долго молчал. Потом достал папиросу, закурил.

— Ты слишком умный для лейтенанта первого года, — сказал он.

— Второго, — поправил я.

— Для второго тоже.

Мы помолчали. В кабинете было тихо — только Маша печатала за стеной, методично, как всегда.

— Степан Иванович, — сказал я.

— М?

— Ты говорил с Гореловым про Крюкова.

Горелов посмотрел на меня.

— Нечаев вчера сказал, что рапорт принят. Крюков отстранён. Дело о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей передано в управление.

— Хорошо. — Я помолчал. — Сёмин как?

— Под стражей. Сидит, ждёт суда. — Горелов затянулся. — Адвокат у него плохой, государственный. Много не получит, но получит.

— Жена что?

— Приходила. Плачет. Говорит, не хотела этого.

— Никто не хочет, — сказал я. — Просто не останавливают вовремя.

Горелов посмотрел на меня с тем выражением, которое я у него видел уже несколько раз — когда он слышал что-то, что ему одновременно нравилось и немного беспокоило.

— Пойдём, — сказал он. — Крюкова надо официально допросить про три заявления. Пока он ещё в отделе — его завтра забирают в управление.

Я встал.

Крюков сидел в комнате для допросов — той самой, где три дня назад сидел Колосов. Маленький, обрюзгший, в расстёгнутой форме. Смотрел в стол. Когда мы вошли — поднял голову, посмотрел на меня.

— Это ты приходил, — сказал он.

— Я.

Горелов сел сбоку с блокнотом. Я сел напротив.

— Крюков Сергей Николаевич, — сказал я. — Мы уже с вами разговаривали неофициально. Теперь официально. Расскажите про три заявления от гражданина Ферапонтова на его соседа Сёмина.

— Я уже рассказал.

— Расскажите ещё раз. Для протокола.

Он смотрел на стол.

— Сёмин платил мне. — Голос ровный, безжизненный — человек, у которого кончились силы держаться. — Каждый месяц приходил, давал три рубля. Я заявления прятал.

— Три рубля в месяц, — повторил я.

— Да.

— За три года — сто восемь рублей.

Он не ответил.

— Ферапонтов умер, — сказал я.

— Знаю.

— Сёмин, может быть, не убил бы его — если бы заявления были рассмотрены. Если бы его наказали вовремя. Если бы вмешались.

— Я не знал, что убьёт.

— Нет. Не знали. — Я смотрел на него. — Вы знали, что он бьёт. Вы знали, что человек пишет заявления. Вы взяли деньги и ушли.

Он молчал.

— Крюков, — сказал я. — Я не кричу. Я не угрожаю. Я прошу вас понять одну вещь.

Он поднял голову.

— Три рубля в месяц, — сказал я тихо. — Это была цена человека. Вы оценили его в три рубля.

Долгое молчание.

Горелов писал.

— Больше нечего добавить? — спросил я.

— Нечего.

— Хорошо.

Я встал, пошёл к двери. Остановился.

— Подпишите протокол.

Крюков взял ручку. Подписал. Не читая — просто поставил подпись.

Мы вышли в коридор. Горелов закрыл дверь, посмотрел на меня.

— Три рубля, — сказал он.

— Да.

— Ты это специально сказал.

— Хотел, чтобы он понял.

— Понял, думаешь?

Я подумал.

— Нет, — сказал я честно. — Наверное, нет. Но попробовать стоило.

Горелов кивнул. Мы пошли по коридору.

— Дело «Соседи» закрыто, — сказал он. — Нечаев утром подписал.

— Хорошо.

— Рапорт по Крюкову уходит в управление.

— Тоже хорошо.

Мы дошли до лестницы. Горелов остановился.

— Воронов.

— Да?

— Ты сегодня сделал два трудных дела. — Он помолчал. — Это хорошо.

Это было сказано просто — без лишнего, без торжественности. Просто сказал, как есть.
— Спасибо, — сказал я.

В половину пятого меня вызвал Нечаев.

Я ожидал чего-то похожего на утренний разговор. Но Нечаев был другим — не усталым, а сосредоточенным. Закрыл дверь, когда я вошёл.

— Садись.

Я сел.

— Тебя хочет видеть замначальника горотдела, — сказал он. — Полковник Рябов. Завтра в десять.

— По какому поводу?

— По поводу «некорректного поведения при работе с гражданами». — Нечаев смотрел на меня прямо. — Это Громов. Он позвонил сегодня после обеда.

Быстро. Я пришёл к нему утром, в полдень он уже звонил.

— Понял, — сказал я.

— Воронов, — сказал Нечаев. — Рябов будет давить. Он не злой человек, но он понимает, откуда дует ветер. Молчи и кивай.

— Это вы мне советуете?

— Это я тебе говорю, — сказал Нечаев. — Молчи и кивай. Выйдешь из кабинета — делай что считаешь нужным. Но в кабинете — молчи и кивай.

Я смотрел на него. Крупный мужик с залысиной и усами, портрет Брежнева за спиной. Человек, который провёл в системе больше двадцати лет и знает, как она работает.

— Хорошо, — сказал я.

— Иди.

Я встал. У двери остановился.

— Нечаев.

— Что?

— Спасибо.

Он посмотрел на меня. Ничего не сказал. Я вышел.

Домой шёл пешком — специально, чтобы подышать. Осенний воздух, листья под ногами, уличные фонари уже горели. Улица Строителей была тихой в это время.

Думал о завтрашнем разговоре с Рябовым. Молчать и кивать — это правильно. Не потому что трушу, а потому что такие разговоры ничего не решают. Это спектакль для Громова — чтобы показать, что давление работает. Если я буду молчать и кивать — Громов получит то, что хочет внешне, но ничего не изменится по существу.

Думал о конверте. О стакане с водой. О том, что Громов знает, что мы знаем.

Что он сделает дальше?

Два варианта. Первый — попытается убрать свидетелей. Колосов в Кирове, Петрович в деревне — они в относительной безопасности, но не абсолютной. Второй — попытается закрыть дело политически, через горком, через управление, выше.

Первое — опасно. Второе — медленно и не гарантировано.

Умный человек выберет второе. Но испуганный — может выбрать первое.

Громов испугался? Нет. Но задумался — это я видел. Стакан с водой его задел.

Нужно поговорить с Ириной. Предупредить её.

В коммуналке в коридоре пахло чем-то сладким — варенье, что ли. Нет, не варенье — яблочный пирог. Я прошёл на кухню.

Нина Васильевна стояла у плиты, вынимала из духовки противень. Обернулась.

— Пришёл. Вовремя — пирог только вышел.

Я снял китель, повесил на спинку стула. Сел.

— Духовка нормально греет?

— Нормально. — Она поставила противень на подставку. — Сегодня хорошо.

— Хорошо — редко?

— Иногда перегревает. Я уже привыкла делать скидку.

— Посмотрю после пирога.

— После пирога, — согласилась она.

Она нарезала пирог, поставила передо мной тарелку. Яблочный, с корицей — запах был такой, что я про всё забыл на секунду. Просто сидел и нюхал.

— Ешь, — сказала она.

Я ел. Пирог был хорошим — тесто мягкое, яблоки кислые, корица в меру. Нина Васильевна пила чай и смотрела в окно.

— Что-то случилось сегодня, — сказала она.

— Много чего случилось.

— Что-то важное.

— Да, — сказал я. — Важное.

Она не спрашивала что. Просто констатировала — я замечал это уже не первый раз. Она умела видеть состояние человека без слов.

— Нина Васильевна, — сказал я.

— М?

— Вы боялись когда-нибудь? За мужа — когда он работал.

Она помолчала.

— Боялась, — сказала она. — Всегда боялась. Это нормально.

— Как с этим жить?

— Привыкаешь, — сказала она просто. — Не к страху — к его присутствию. Он есть, и ты есть. Рядом. — Пауза. — Страх — это не плохо. Плохо — когда он останавливает.

Я думал об этом. Про Громова, про завтрашний разговор с Рябовым, про то, что всё только начинается.

— Меня завтра будут давить, — сказал я. — Официально.

— Будешь молчать?

— Да.

— Это правильно. — Она допила чай. — Молчание — это не слабость. Это иногда единственный умный ответ.

Я посмотрел на неё. Она смотрела в окно — спокойно, как смотрят на что-то привычное.

— Откуда вы всё это знаете? — спросил я.

— Прожила семьдесят лет, — сказала она. — Кое-что набралось.

Я доел пирог. Взял инструменты, полез посмотреть духовку. Нашёл проблему быстро — регулятор температуры был немного смещён, контакт плавал. Подтянул, выставил правильно.

— Проверьте завтра.

— Проверю, — сказала она.

Я убрал инструменты. Встал.

— Спокойной ночи, Нина Васильевна.

— Спокойной ночи, Алёша. — Пауза. — Всё будет хорошо.

Она сказала это просто — не для того, чтобы успокоить. Просто сказала, как думала.

Я не знал, будет ли всё хорошо. Но мне было приятно, что кто-то так думает.

В комнате я лёг на кушетку, закинул руки за голову.

Завтра — Рябов. Громов ждёт ответного хода. Ирину надо предупредить.

Я лежал и думал о стакане с водой. О том, что Громов задержался на долю секунды, когда я об этом сказал. Задержался — и взял себя в руки. Быстро, профессионально. Но задержался.

Это что-то значило.

Человек, который убивает аккуратно и методично, привыкает к тому, что концы спрятаны. Когда оказывается, что один конец всё-таки нашли — пусть маленький, пусть незначительный — что-то меняется. Не страх. Пересмотр.

Он пересматривает. Оценивает, насколько серьёзно.

Я был для него лейтенантом второго месяца — молодым, неопытным, которого можно закрыть через Рябова или горком. Но стакан с водой — эту деталь знали только те, кто был в кабинете. Значит, либо кто-то из этих людей говорит. Либо — более неприятный вариант — кто-то работает против него с самого начала.

Громов теперь думает о том, кто именно.

Это давало время. Пока он думает — он не действует.

Мало времени, но всё же.

Я закрыл глаза.

За стеной тикали часы Нины Васильевны. Ровно, методично. Хорошие часы.

Гла

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.